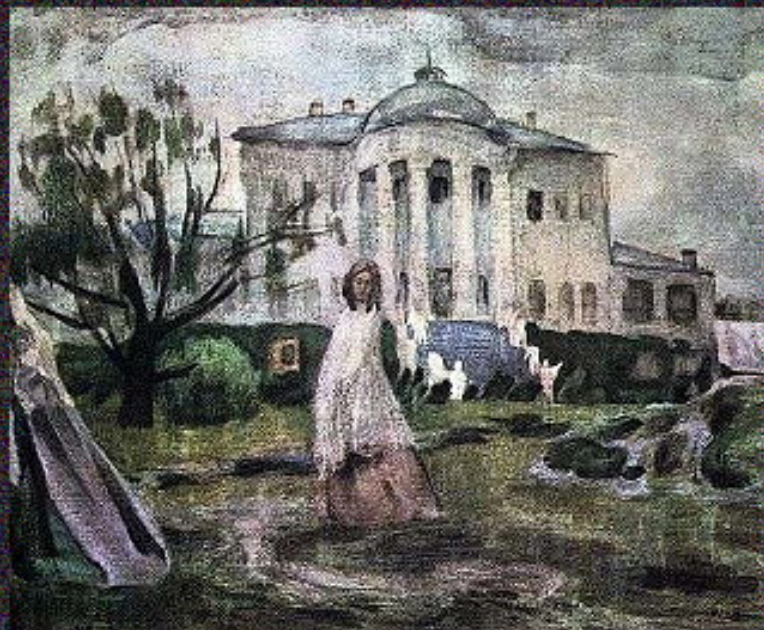


[Polaris]

Поль Виола



# МРАМОРНОЕ ПОМЕСТЬЕ

Русский оккультный роман

Том XIII

**POLARIS**



**ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА**

**CCCLXXXIV**



**Salamandra P.V.V.**

**Поль  
ВИОЛА**

# **МРАМОРНОЕ ПОМЕСТЬЕ**

Русский оккультный роман  
Том XIII

**Salamandra P.V.V.**

## **Виола П. (Пихно П. Д.)**

Мраморное поместье (Русский оккультный роман. Том XIII). Сост. и подг. текста М. Фоменко. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2021. — 160 с. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCLXXXIV).

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880-1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.



**ВОЛЧИЦА**

Была девушка,  
а потом стала сова...

*«Гамлет» Шекспира*

Много лет прошло со дня смерти моего друга Анатолия Бич-Карганова, но только теперь я решаюсь предать гласности загадочные обстоятельства его кончины; решаюсь не без колебания, так как придется выдать тайну преступления, известную пока лишь мне одному в этом мире. Впрочем, я вполне убежден, что ни один здраво чувствующий человек, кроме разве самых заскорузлых педантов, не станет слишком строго судить моего покойного друга по всестороннему обсуждению обстоятельств, о которых речь впереди. Кроме того, я принял в расчет время, неизменно заливающее каждую волну общественного внимания тысячами новых волн, и, заменив фамилию последнего отпрыска старинного, всем известного рода нашей страны подставным именем, принял еще некоторые меры предосторожности, о которых не считаю необходимым распространяться.

Облегчив таким образом совесть, перехожу к рассказу, причем предупреждаю читателя, что буду передавать события так, как они представлялись моим наблюдениям, совершенно не останавливаясь на теоретических комментариях для обсуждения возможностей и невозможностей по поводу мистической окраски происшедшего.

В первых числах октября (не буду упоминать года) я получил от отца моего друга Анатолия заказное письмо. За обычным вступлением стояло следующее: «...Обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой. Сын мой, как вы, быть может, знаете, полгода тому назад схоронил молодую жену; несчастное, чрезвычайно кроткое создание успело за год и успокоить Анатолия после известной вам истории, и меня примирить с ним. Она пала жертвой, одной из бесчисленных жертв чахотки, в шесть месяцев загнавшей ее в могилу. С тех пор Анатолий не живет более среди живых людей; горе его неутешно — он стал тенью... Всеми силами я

старался его ободрить, советовал, как это ни банально, путешествовать — но безуспешно. Вам знаком его характер: развлекать себя путешествием кажется ему оскорблением памяти усопшей; он ни за что не соглашается расстаться с ее могилой. Вы, конечно, помните его склонность к мистическому; в настоящее время под влиянием тяжелой утраты она начинает принимать угрожающий характер и вызывает сильные нервные припадки; он придает странное значение некоторым весьма обыкновенным вещам и становится суеверным. Все это не может не тревожить отца; между тем, дела высокой государственной важности спешно вызвали меня в столицу. Пришлось оставить его.

Конечно, я мог бы поручить сына некоторым отдаленным родственникам; они не отказали бы... Но, при его щепетильном характере, это была бы плохая услуга. И вот я решился обратиться к вам, вспоминая наши добрые отношения и вашу дружбу с Анатолием. Простите меня, если эта просьба покажется вам навязчивой, но вы единственный человек, которым Анатолий не тяготился бы. Скажу прямо: я умоляю вас не отказать приехать к нему в имение, если возможно, на месяц моей отлучки. Если вы согласитесь, то, быть может, нам удастся склонить его на путешествие — это хоть и банальное, но испытанное средство. Я не решаюсь вас просить быть его спутником, но если только вы захотите, ради Бога, отбросьте вопрос о средствах. Я знаю вас как интеллигентного человека: вы, конечно, поймете, что бывают случаи, когда неловкость денежного вопроса совершенно упраздняется. Я готов предложить вам тысячи на поездку и все-таки считать себя вашим неоплаченным должником. Ради Бога, не откажите, и, если только возможно, спасите мне сына...»

Далее следовали указания маршрута и подпись.

Прочитав это письмо, я колебался. К стыду своему сознаюсь, что *visite de condoléance*\* не слишком привлекал меня. Мне кажется, что многие на моем месте почувствовали бы то же. К тому же, между мной и Анатолием не было

---

\* Визит с соболезнованиями (*фр.*).



особой интимности; был лишь взаимный интерес, охлажденный четырьмя годами разлуки. Это была одна из натур, не склонных к близким отношениям, потому что душа его питала отвращение к проекции наружу, без которой дружба никогда не может быть тесной.

Тем не менее, вдумавшись в судьбу молодого Бич-Карганова, я пожалел его искренне.

Я вспомнил школьного товарища, замкнутого в себе, мечтательного юношу, щепетильно вежливого в обращении, с фигурой высокой и тонкой, бледностью и почти женской нежностью кожи, изящными чертами и оригинальными карими глазами блондина. Припомнились бесконечные идейные споры (Анатолий никогда не говорил о чувствах и поступках), где с его стороны проявлялась всегда удивительная прозрачность ума и большая начитанность; увлечение искусствами, в особенности музыкой, фантазии на скрипке в сумеречное время, что, казалось, очень гармонировало с его характером, склонным к задумчивости и тяготеющим к неведомому, странному, таинственному.

После университета судьба разлучила нас; мы не переписывались, но вскоре я узнал об «истории» от наших общих знакомых. Говорили об увлечении женщиной типа авантюристки, о рассеянном образе жизни, странствованиях по Европе, мистических изысканиях, безумных тратах и т. п.

Вот все, что я восстанавливал в памяти, проезжая проселочной дорогой от уездного города П. к поместью Бич-Каргановых и предварительно проколесив немало по железной дороге. Мне пришлось сделать около сорока верст по нашему Полесью.

За лесами, полными величия и силы даже в осеннее время, следовали, по мере приближения к цели, места, носившие утрюмый характер. Чахлые сосенки и березки, кривые, с обнаженными корнями, сползавшими с кочек в черное болото, подобно исполинским червям; казалось, эти извивающиеся исчадия топи не только не питали больных стволов, но сами терзали их, выпивая последние соки каким-то судорожным усилием. Изредка попадались деревушки, затерянные среди лесов и болот, с убогими хатенками,

более похожими на хлева, чем на человеческие жилища. Здесь я впервые увидел на жалких сельских кладбищах кресты необыкновенных размеров, давно почерневшие от времени, изъеденные плесенью, но все еще высоко доминирующие над пустыней лесных прогалин и вязкой мертвой топью. Казалось, художественное чутье народа подсказало ему гармонию этих мрачных *memento mori*\* с унылым характером природы.

За мною был прислан экипаж. Из любопытства я завязал разговор с возницей.

— А что, ваш барин сильно за женой убивается?

— Так точно, измучились, не дай Бог как.

Он замолчал. Я ожидал продолжения, не спрашивая дальше. Действительно, он сейчас же понял мое желание получить дальнейшие сведения и продолжал:

— Очень уважали они барыню за доброту, значит, как ребеночек была... А как заболела, сейчас за дохтурами посылали. Сколько их было!.. Только что, известно, дохтур поможет, как Бог даст, а если, значит, соизволения нет Божьего, то и с дохтурами все одно... а тут ще химяра якась с тою волчицею...

— С волчицей?

— Так точно; стала у нас тут в лесу волчица показываться, аж с того самого дня, как то барыня наша заболела, да-й кричить не дай Бог как: ну, значит, больному беспокойство...

— Да ведь у вас здесь столько лесов, что волков много должно быть!

— Никак нет, лет двадцать и жодной не было, а теперь, значит, набежала, потому кругом лесов много.

— Ну что ж, убили ее?

— Никак нет, и по сю пору есть. Да как барыня померла, то так выла над самой могилой, что под леском, где барыня лежит. Да лесник рассказывает — землю подрала когтями... А в народе рассказывают, что то вже на скончание рода.

— Как так на скончание?

---

\* Здесь: напоминаний о смерти (*лат.*).

— Так точно, на скончание. Старые люди кажут, что так баринам Каргановым на роду написано: кто, значит, волчицу убьет, тот последний на роду будет, и сам за волчицею помрет. Так-то, значит, та волчица и есть.

Я знал, что почти нет старинного рода, у которого не было бы своей легенды или пророчества; но все-таки это предсказание показалось мне странным. Я задумался над тем, как могут слагаться в народе такие определенные и вместе с тем необъяснимые, ни с чем не связанные поверья. Это напомнило мне известное пророчество, на первый взгляд неисполнимое, относительно Бирнамского леса в шекспировском «Макбете». И как же, по представлению народа, может сбыться подобное предведение, если последний в роде Бич-Каргановых не захочет стрелять по волчице?

— А ты разве веришь этому? — спросил я.

— Никак нет, не верю... только чудно мне сдается, что лесник сказывал.

— Что же он сказывал?

— Стрелял он по ней.

— Что ж, промахнулся?

— Так точно, не потрафил, а говорят, близко шла; а лесник наш Артем добре стреляет, качек влет зашибает.

— Ну что же, промах со всяким случается.

— Так точно, что случается.

На этом оборвался наш разговор; мы подъезжали к парку и усадьбе Бич-Каргановых. Парк с одной стороны прилегал к лесу, с другой его окружали пустынные поля и болота, на горизонте также замыкавшиеся лесами. Меня сразу поразили вид усадебного дома. Это не были стены, а какое-то нагромождение неотесанных древесных стволов серовато-бурого цвета, с торчащими сучьями и черепичной кровлей. Крыша, впрочем, не была вполне черепичной, а представляла собой сложную мозаику стволов, ветвей и черепицы, скрепленных железными сцепами и искусно зацементированных. Огромные чугунные подпорки поддерживали стены. Экипаж остановился у обширной веранды, сложенной из больших камней серого цвета, причудливо глыбами нагроможденных. Могучие дубы и ясени склонили поржа-

вевшие ветви над приземистой постройкой; над ними повисли серые тучи; матовый день клонился к закату. Анатолий, видимо, поджидал меня, сидя на веранде. Я нашел его сильно поддавшимся; на лице запечатлелись скорбная задумчивость и еще какое-то другое выражение, смысл которого мне стал ясен лишь впоследствии.

— Я очень рад твоему приезду, — сказал он мне, улыбаясь болезненно и с трудом, — если только ты в настроении поскучать здесь осенними днями.

— Ну, мы, кажется, никогда не скучали вдвоем, — отвечал я искренне, — к тому же мне очень приятны и осень, и такие старые усадьбы, как эта.

Я решил избавить его от обычных соболезований, ожидая случая, когда бы он мог облегчить свое горе словами, если только в этом была у него потребность; поэтому по моей просьбе он повел меня осматривать усадьбу. Меня несколько не интересовали типичные для владельцев старого времени многообразные постройки, заполнявшие обширный двор: каменные конюшни, амбары, коптильни, бани, птичники и службы всякого рода. Зато в старом парке с запущенными прудами меня особенно поразили беседки, если только так можно назвать то, что я увидел. Это не были павильоны из легких дощечек, обычного стиля, а совершенно особые причудливые сооружения. Дубы огромной толщины были посажены непроницаемым кружком с отверстием для входа. Вершины их, очевидно, с ранних лет систематически обрезаемые на высоте трех сажен, были сближены массивными железными скрепами под углом, образуя таким образом усеченный конус. Скрепы глубоко вонзились в вековые стволы: дерево, вырастая, стремилось освободиться от железных объятий человеческого ухищрения; от срезания коронок оно сильно развивалось вширь, глубоко переплетаясь судорожными ветвями, свешиваясь и расползаясь по земле в постоянной непосильной борьбе со сталью. Внутри этих почти темных беседок ветвей не было: их не пускали железные преграждения; прорвавшиеся ветви, видимо, вырубались, и, наконец, деревья инстинктивно направляли все свои силы к свету, отчего внешний вид бе-

сенок был особенно богат зеленью, в это время года уже потускневшей, но оживленной пурпурными гирляндами побегов дикого винограда. Корни их питались в огромном ящике, висевшем на чугунных крючках в каждой беседке и составлявшем верхнее дно усеченного конуса, увенчивая все фантастическое сооружение. От Анатолия я узнал, что дом и беседки были построены два с половиной века назад одним из Бич-Каргановых, который еще теперь живет в народных воспоминаниях человеком необычайно суровым и властным. Случайно он узнал, что где-то в какой-то реке были найдены залежи окаменелого леса и воспользовался этим необычайно прочным материалом, чтобы с величайшими усилиями и совершенно своеобразно сколотить то родовое гнездо, где ныне вел самое жалкое существование последний истомленный отпрыск когда-то могучего рода. Все, что не было выстроено из окаменелого леса: беспорядочно разбросанные мезонины, стеклянная галерея, колонны и уголья, — все это было позднейшего происхождения и несколько не украшало, а лишь портило первоначальный вид усадьбы.

Я потому так долго остановился на описании этих старинных сооружений, что в них проглядывала одна идея: воспользоваться сырым материалом, не снисходить до тщательной, долгой и хлопотливой обработки, но властно громоздить его в грандиозных масштабах, подчиняя дерево железу, связывая огромные части непреодолимо массивными звеньями. Часто впоследствии, в дни моего пребывания в усадьбе, эти постройки рисовали мне их создателя человеком, для которого и смысл, и справедливость, и все стремления жизни начинались и кончались там, где осуществлялась его воля, гордая, беспощадная и непреклонная. Мне всегда казалось, что природа стремится к какой-то представленной ею гармонии, что все людские акты, слишком преступающие ее нормы, выходящие из ее рамок в необузданном культе личности и воли, всегда рано или поздно подчиняются закону возмездия, расплаты, если не личной, то по крайней мере в лице последующих поколений. Эта старая мысль мелькнула у меня, когда во время прогулки по уса-

дье мне невольно бросился в глаза контраст между циклопической мощью усадебного дома и беседок и аристократической, но нежной и даже хрупкой фигурой Анатолия с бледными чертами, с печатью тоски и подавленности — как я тогда, впрочем, думал, в зависимости лишь от воспоминаний о свежей могиле.

Впечатление усиливалось еще тем, что за ним шла, ни на шаг не отступая, черная кудлатая собака, зверь необычайного роста и силы. Последовавшая трагическая развязка драмы Анатолия еще больше оттенила в моих воспоминаниях эту метафизическую теорию.

Анатолий отвечал на все мои вопросы, касавшиеся обозреваемой местности, усталым голосом, хоть и с обычной предупредительностью. Он разговаривал, как тяжело больной. За ужином беседа коснулась общих знакомых, и я заметил, что он тотчас же замял разговор при моем вопросе о его странствованиях по Европе. Мрачная тень мелькнула в его глазах. Над ним тяжело нависала атмосфера какой-то неотступной мысли.

В общем, мое впечатление было грустное. В этот день, засыпая, я размышлял о том, что за человек мог быть основателем этого дома. Зачем было выбрано столь угрюмое место среди болот и чахлых лесов, почему воздвигались такие странные постройки? Старое поверье, рассказанное возницей, фантастически кружилось предо мной. Должно быть, это было время непроходимых, девственных чащ, время диких, необузданных преследований зверя со стороны вельмож, создавших мировую легенду о бешеной скачке «проклятого охотника» по полям и лугам, без пощады для нив бедных тружеников. Не в те ли времена варварских увеселений под влиянием многих жестоких насилий создалось это поверье о грядущем возмездии? С этими мыслями я заснул.

Дальнейшие события я передам, выписывая их из дневника, который вел в то время, причем заранее извиняюсь перед читателем за отрывочный характер этих заметок, из которых для краткости выбрасываю многие мысли и впечатления, считая наиболее интересным пересказ фактов.

15 октября.

Черт побери, я, кажется, сам потеряю скоро равновесие среди мистического тумана, которым пропитана здесь атмосфера. Сегодня опять та же история ночью. Тот же противный вой этой «окаянной» волчицы, бегство Анатолия на могилу, сердечные припадки, ужас на его лице и отчаяние дворецкого. Все то же, только Анатолий показался мне еще испуганнее и жалче. С сердечными припадками, если дело так будет продолжаться, то кончится скверно и помимо всяких бредней. Настроение мое понижается. Сегодня я целый день брожу по сухой листве опадающего парка и в раздумье останавливаюсь у небольшой четырехколонной базилики, прикрывающей статую Мадонны. Это единственное здесь украшение в обычном и характерном для польского влияния стиле. После мрачной архитектуры дома и циклопических беседок, среди тяжелых дум, заволакивающих какую-то тайну Анатолия, меня особенно привлекают мягкие контуры базилики и грустно-сладостная улыбка Мадонны...

Я все думаю о странном влиянии на людей, быть может, случайно заблудшего зверя; припоминаю свой разговор с возницей и таинственно-испуганный шепот дворецкого (как его здесь называют) при слове «волчица». В конце концов эта волчица становится каким-то грозным символом и давит, как кошмар.

К тому же, бедняга Анатолий со своим молчаливыми горем и образ этой несчастной молодой женщины, удивительно обаятельной, судя по портрету и по тому, как о ней здесь отзываются, — все это расстраивает мои нервы.

Среди книг, обременяющих письменный стол Анатолия, сегодня мне между прочими бросилась в глаза одна — старинная, на старинном французском языке 18-го столетия. Она была открыта на странице, несколько раз обведенной красным карандашом. Я прочел ее из любопытства узнать, чем заняты мысли моего друга. Это было изложение доктрины метемпсихоза. Согласно индийскому учению, акан-

хара, или внутренний свет, озаряющий душу, от растения, в котором он произрастает и словно дремлет, переходит путем ряда постепенных градаций в человека, где достигает высшего развития своей земной жизни. На этой ступени она может входить в сообщение при помощи чистой жидкости агазы с питри, то есть духами, к которым и присоединяется по освобождении от телесной оболочки. Здесь, впрочем, ее путь не прекращается, но происходит ряд дальнейших преобразований. В случае же порочности человека, душа его подвергается испуительным странствованиям, то есть ряду деградаций: она переходит в тела животных, где пребывает до тех пор, пока не достигнет необходимой для последующих трансформаций степени совершенства.

Над последними строками, особенно тщательно подчеркнутыми, я задумался, так как — не знаю, почему, — мне показалось, что должна быть какая-то связь между ними и настроением Анатолия. Впрочем, эту неосновательную мысль я скоро отбросил. В сущности, учение, утверждающее бессмертие души, то есть одну из самых утешительных и живучих надежд человека, должно, во всяком случае, оказывать благотворное влияние на настроение бедного мечтателя, недавно потерявшего любимую жену.

Рядом с этой старой французской книгой лежал том Эдгара По, раскрытый на «Гибели Эшеров дома». Почти машинально я перечел мрачную фантазию общепризнанного исторического главы современных символистов, причем не мог не обратить внимание на сходство ситуации рассказчика с собственным своим положением. Я также явился по письменному приглашению в фамильное гнездо последнего представителя старинного рода и, кажется, таким же образом отданного во власть мистерий ужаса. «Лишь бы только конец не оказался столь же фатальным», — подумал я, и какое-то мрачное предчувствие закралось мне в душу, что, впрочем, было вполне понятно, если принять во внимание болезненное состояние моего друга.

Но чувство это возросло почти до полной уверенности, и я невольно вздрогнул, когда случайно взглянул на портрет Марии, висевший на стене. Мне показалось, что еле уло-



вимая печать грядущей смерти, превосходно схваченная художником, в эту минуту особенно ясно выделялась на полотне. В то же мгновение я припомнил болезненную улыбку Анатолия, недавно извинявшегося предо мной за беспокойства бессонной ночи; в ней, несомненно, был тот же злобующий признак! Почему я не заметил этого тогда? Очевидно, впечатление затерялось в тайниках сознания, как это часто бывает, и только теперь всплыло наверх под влиянием толчка извне.

С каким-то тяжелым чувством я вышел в парк и долго бродил в нем, предаваясь безотчетно грустным настроениям. Вид у Анатолия подавленный. В лице его заметна все та же неотвязная свинцовая мысль. Мне удалось, однако, вовлечь его в любимые им когда-то беседы. Я говорил, он изредка вставлял свои замечания — как-то странно, как будто не отрываясь от своей идеи. Между прочим, вспомнив содержание недавно прочитанной страницы, я спросил его, верит ли он в бессмертие души. Трезвость и философская проба его ответа заставила меня призадуматься над странным противоречием между доводами рассудка и суеверным ужасом души, совмещающимся в одной личности, над тем громадным влиянием подсознательного в жизни человека, которое в настоящее время начинает сильно занимать психологов благодаря исследованиям по гипнозу.

— Мое убеждение, — ответил он, как-то нерешительно выговаривая слова, с глазами, устремленными в одну точку, — что вопрос этот всегда будет стоять за границей нашего познания по той причине, что составляет предмет аналитической мысли. Анализ же для решения метафизических проблем есть орудие ума, совершенно недостаточное, так как его задача судить о причине или о ряде их по имеющемуся результату; но, так как разные причины могут дать одинаковые результаты, то никогда нельзя утверждать, что находишь истинную.

Но бывают в жизни моменты, — прибавил он после некоторой паузы с каким-то мучительным выражением в лице, — такие моменты, когда человек разрешает этот вопрос с непреклонной уверенностью, силой одного лишь внутрен-

ного убеждения и помимо всякого участия разума...

Я думал, что услышу, наконец, то, что терзало его душу, но он не захотел продолжать и больше не сказал ничего...

Стентор подошел к нему и начал ласкаться. Анатолий долго гладил его, задумчиво глядя в умные глаза зверя. Таким образом он проводит иногда часы; дворецкий говорит, что это была любимая собака Марии.

17 октября.

Что все это означает, не могу понять! Преступление или помешательство? Или, быть может, и то, и другое вместе? Я осторожно расспросил дворецкого: действительно, здесь была какая-то барышня Аглая; но зачем же все-таки ему ходить на это болото? Однако, запишу все по порядку. Сегодня я отправился гулять в лес. День клонился к вечеру. Лесная тропинка вела меня параллельно другой большой дороге, замыкавшей опушку леса. Оба пути сближались постепенно и наконец сошлись; я достиг опушки, за которой предо мной было большое болото или, вернее, полужидкая топь с незначительной растительностью и редкими полуобнаженными тощими березками на кочках. Кругом виднелись леса. Здесь, совершенно неожиданно, я увидел Анатолия. Он стоял на конце какого-то длинного бревна, повисшего над топью и перелегавшего через дорогу. Другой конец был, очевидно, для равновесия подсунут под мощно выгнувшийся корень огромной сосны, выросшей у самой дороги. Устроивши себе таким образом точку опоры над мрачной тиной, Анатолий предавался непонятному для меня делу. С большими усилиями, налегая всем телом, он глубоко вонзал в тину длинный багор с железным крюком на конце и с еще большим трудом вытаскивал его обратно.

Я уже собирался его окликнуть, когда заметил на конце только что вытасченного им багра какой-то предмет, показавшийся мне сперва куском кожи. Но, присмотревшись, я с удивлением и ужасом узнал в нем форму небольшого дам-

ского саквояжа.

Он весь разошелся по швам и сплюснулся, но все-таки не оставалось сомнений, что это был когда то саквояж.

— Анатолий, что ты делаешь? — закричал я в тот момент, когда он снова вонзил багор, отбросив зацепленный крюком предмет.

— Я ищу ее, — отвечал он сдавленным голосом.

— Кого? Что ты говоришь?!

— Аглаю...

Я стоял пораженный, с застывшим вопросом на губах, когда он вдруг отбросил багор и подошел ко мне. Он смотрел на меня в упор холодным взглядом какого-то стального безумия в глазах.

«Сумасшедший», — мелькнуло у меня, когда он заговорил тем же сдавленным голосом, с усилием и перерывами выговаривая слова.

— Я убил ее здесь вот... и бросил в окно, в болото... но все-таки я хотел бы найти ее, чтобы знать, что она умерла... что не она меня мучает с тех пор, как Марии нет.. А впрочем, — прибавил он голосом, более похожим на обыкновенный и как-то безнадежно махнув рукой, — тело уже разложилось, а душу я не найду, она там...

Он указал рукой на лес, и в то же время безумное выражение растаяло в его глазах, скорбных и усталых. Быстрым шагом он пошел к дому лесной тропинкой. Я понял, что кризис миновал. По дороге на все вопросы он долго не отвечал и, наконец, произнес усталым голосом: «Потом...» Я был так взволнован, что не мог разобраться во всем этом. Только теперь, записавши все происшедшее, начинаю приходить в себя. Неужели Анатолий совершил убийство? Все это можно было бы объяснить его расстроенным воображением, но тогда откуда же в болоте саквояж? Ужас охватывает меня, когда я подумаю, что передо мной не только убийца, но вместе с тем жалкий маньяк, быстрыми шагами подвигающийся к состоянию полного безумия. Подожду еще три дня: если ему не станет лучше, то нужно будет известить его отца телеграммой. Боюсь, что-то страшное во всем этом, какой-то ужасный узел, быть может, распуты-

вается и откроет что-то отвратительное! Я решил ничего не говорить отцу про случай в лесу. Если здесь и было преступление, то я не считаю себя вправе выдать тайну Анатолия.

18 октября.

У него сегодня страшный вид: глаза провалились, лицо осунулось, не говорит ни слова. Дворецкий хочет послать за доктором, но я вижу, что доктор здесь совершенно не нужен. С утра в лесу идет облава, как оказывается по словам дворецкого, не первая уже. Волчица неуязвима, по его представлениям. Анатолий весь день просидел на веранде, прислушиваясь к крикам загонщиков и ожесточенному лаю собак. Когда все кончилось, пришел лесник и робко доложил, что волчицу не удалось и видеть. Анатолий в раздумье поник и просидел так часа два. Наконец, мне стало жутко от этого молчания; я начал убеждать его, говорил долго, советуя ему встряхнуться, и, доказывая вред для него от пребывания здесь, предложил уехать куда-нибудь.

— Нет, — ответил он тихо, — здесь я все оставил, здесь и умру...

Прошло не более пяти секунд молчания, когда вдруг в лесу раздался этот отвратительный протяжный вой. В лице Анатолия опять явилось знакомое выражение ужаса; он быстро встал и ушел в свой кабинет. Что это за ужасное совпадение его слов «здесь и умру» с этим зловещим воем! Он сойдет с ума и от мысли о преступлении, и от суеверного ужаса перед этим зверем. Одно для меня ясно: между его женой, какой-то Аглаей и им произошла драма, которой я не знаю. Какая-то тайна!..

Здесь обрывается мой дневник. Наступившая затем фатальная развязка так ошеломляюще повлияла на меня, что было не до дневника. Поэтому о последних двух днях

пребывания в доме Бич-Каргановых я расскажу по воспоминаниям, неизгладимо запечатлевшимся в памяти. Эти два дня прошли, как кошмар. В лесах без перерыва шла облава, то приближавшаяся почти к самому парку, то замиравшая в отдалении. В конце концов, это была какая-то погоня за зловещим призраком. Анатолий все время просидел на веранде с жалким видом маньяка; он почти не принимал пищи. Отцу была послана телеграмма. Нервы мои тоже болезненно расшатались и ныли. Мне казалась тогда необъяснимой невозможность найти волчицу. Хотя и теперь многое кажется мне загадочным, но это обстоятельство менее других. Кругом было столько лесов, что она могла скрыться. Не буду сообщать всего того, что передумал я за эти дни: сами факты гораздо интереснее.

21 октября был перерыв в охоте. Поздно вечером мы сидели с Анатолием за чайным столом, когда пришел лесник с обширным докладом о состоявшихся облавах. Доклад этот кончался словами, произнесенными мрачным тоном: «Нельзя ее убить, не зверь это, а погань какая-то».

Анатолий велел прекратить охоту и жестом отпустил лесника.

Я думал о том, как неотразимо должно влиять на расшатанные нервы Анатолия суеверное настроение окружающих его людей. К тому же он и без того всегда был склонен к мистицизму.

В комнате застыла полная тишина, изредка прерываемая легкими всхрапываниями Стентора. Очнувшись от мыслей, я взглянул на Анатолия: он сидел в какой-то странной позе, неподвижный, как каталептик, закрыв лицо руками и склонив голову на красивый терракотовый кувшин с водой. Мне показалось, что блестящие капли порой скользят между его тонкими пальцами. «Он плачет, — подумал я, — теперь время исторгнуть у него признание; быть может, оно облегчит его».

— Анатолий, — сказал я, — Расскажи мне все про Аглаю: тебе будет легче.

Казалось, несколько капель слез помогли бедняге; взор его просветлел, он сказал мне все...

Вот его рассказ, приведенный лишь в более стройный вид, так как волнение мешало ему ясно выражаться.

— Ты слышал, должно быть, — начал он, — про мои отношения к одной женщине. Ее звали Аглаей. Это было существо необыкновенное; в ней не было обаяния и нежного романтического огня моей кроткой Марии, но было какое-то загадочное очарование: неотразимый взор змеи, гипнотизирующей птицу. Человек знал, что идет на гибель и все-таки шел, с ужасом подчиняясь силе, которой не мог противиться. Она была прекрасна какой-то матовой, почти призрачной красотой, холодная, жестокая и вместе с тем страстная не чувством, а неистощимой жадностью рассудка и фантазии, фантазии сумасшедшей, истерической, но ненасытной.

В сущности, она, должно быть, никогда не любила меня, но пользовалась мной и моими средствами, как умела пользоваться и другими: исключительно для осуществления своих желаний, которым не было границ. Образование Аглаи было обширно, но ничто не удовлетворяло ее пытливого ума; оставивши занятия науками, она направила все силы и страстность своего воображения на оккультические познания. Я до сих пор с ужасом думаю именно об этом загадочном очаровании, которым она пользовалась в манящем мире неведомого. У нее было странное умение находить во всем нити каких-то тайных влияний; вся эта женщина была окутана ими, и люди, приближавшиеся к ней, до тех пор путались в этой незримой паутине, ужасаясь и, вместе с тем, сладостно содрогаясь, пока наконец, обессиленные, не падали к ее ногам. В полумраке ее фантастической гостиной, среди необыкновенных ароматов амбры, мускуса, ховения и алоэ, они начинали грезить, галлюцинировать наяву, подобно курильщикам опиума, предаваясь самым сказочным иллюзиям, как несчастные жертвы гашиша. Здесь более сильные смеялись над слабыми и, сознаюсь, что в Париже, где она окружила себя странными людьми необычайных способностей и, в то же время, полными беспочвенности и цинизма, я претерпел целую лестницу унижений и растратил все силы молодости.

Там и затем в Америке она была участницей всех мистических союзов: оккультистов, спиритов, люцифериан и прочая. Мы видели все то, что описано в известной книге Батаяля «*Le diable au XIX siecle*»\*. Наконец, прочитав Буало, Осборна и Жаколио, она предприняла поездку в Индию. Во время этого путешествия, совершенно обессиленный, растратив миллионное состояние, записанное на мое имя матерью и, казалось, навсегда потеряв любовь отца, я бежал от нее... и вскоре встретился с Марией. Чуткой душой Мария угадала во мне человека страдавшего, и не знаю, за что она меня полюбила... Как утопающий, схватился я за эту милосердную руку, помилившую меня с отцом и давшую мне целый год неизгладимого счастья...

Голос Анатолия задрожал, он закрыл глаза рукой и помолчал некоторое время. Я думал, что увижу слезы на его ресницах, когда он отвел руку, но глаза были сухие: в них зажегся какой то сумрачно мерцающий огонек.

— Но однажды Аглая явилась... Это было в бурную осеннюю ночь, такую, как теперь.

Она рассказывала, будто, проезжая куда-то, сбилась с пути и, к ужасу моему, оказалась подругой Марии по школе... Пребывание ее у нас продолжилось, она сумела зачаровать романтическое воображение Марии рассказами о своих приключениях, полными огненной фантазии и сказочной заманчивости. Я не мог протестовать, когда жена моя пригласила ее погостить в нашем доме.

С удивительным знанием человеческой души привлекала она Марию, гипнотизируя ее, как удав кролика. Порой мне казалось, что нежная Мария испытывала, по отношению к ней, что-то похожее на боязнь, и в то же время не могла оторваться от таинственной нити ее рассказов. Вместе с тем, Аглая с утонченным наслаждением пересыпала разговор такими намеками, понятными лишь мне одному, что достаточно было тонкой паутины где-нибудь про-

---

\* «Дьявол в XIX веке» (*фр.*), опубликованная в 18895 г. мистификация французского писателя и журналиста Л. Таксиля (М.-Ж. Жогана-Паже).

рваться, чтобы счастье Марии было разбито; она узнала бы все.

Я чувствовал, что мы находимся в ее власти, что она водит Марию над пропастью с закрытыми глазами, что ей достаточно одного движения, чтобы столкнуть ее в бездну.

Невыразимый ужас и бешенство душили меня и в бессонные ночи, скрытые от Марии, я задумал то, что исполнил... Нужно было спешить, так как состояние мое не укрылось от чуткой души Марии; она начинала за меня тревожиться.

Случай пришел мне на помощь. После поездки в город, Аглая неожиданно заявила, что ей необходимо спешно уехать.

— Однако, — прибавила она с улыбкой торжества, понятной лишь мне одному, — я надеюсь возобновить или, вернее, продолжить наше старинное знакомство с вами, Мария, так как покупаю имение по соседству и буду бывать в городе К., где и вы ведь проводите зиму.

В это мгновение я твердо решил: я знал, что намерение Аглаи — погубить Марию и снова овладеть мною.

Ты помнишь болото, где меня встретил? Оно называется «Гнилое пятно». Это ближайший путь от имения к железной дороге в П. Я сам взялся отвезти Аглаю на поезд. Мы ехали вдвоем, в крытом кабриолете. Закат догорал, и надвигались тучи, когда мы подъехали к «Гнилому пятну». Здесь я предложил ей выйти из экипажа, и у той сосны, где ты меня застал, между нами произошел разговор, о котором мне тяжело вспомнить. Сначала я просил ее навсегда оставить меня и Марию, затем долго сдерживаемая ненависть охватила меня всего. Никогда ни с кем я не разговаривал с таким бешенством; я угрожал ей смертью.

— Жалкий! — засмеялась она своим ужасным смехом, напоминавшим лязг оружия. — Мы с тобой связаны судьбой! Если ты даже умертвишь меня, то я все же уничтожу тебя, слепец, потому что смерти нет! нет ее, когда хочешь мстить!!

Кровь ярости хлынула мне в голову.

— Есть смерть! вот она! — закричал я и вонзил ей нож в



горло; кровь брызнула мне на руку...

Вслед за этими словами Анатолия, где-то сквозь бую, свирепевшую за окном, я услышал (или мне почудилось) протяжный вой. «Опять она», — подумал я и как-то невольно содрогнулся.

Но, видно, Анатолий тоже слышал звук: знакомое выражение ужаса, имевшего много градаций на его лице, зародилось в нем. Несколько секунд мы чутко прислушивались: ничего, кроме бури; ветви старого парка бились в окна...

— Не буду тебе рассказывать, как я скрыл преступление, — продолжал он, — как бросил тело и багаж в болото, ездил на станцию, посылал знавшего меня носильщика купить некоторые принадлежности женского туалета — щипцы для завивки волос, одеколон и конфеты, — чтобы воспользоваться его показаниями в случае надобности. Быть может, это было излишне; не было возможности ничего открыть. И все-таки я боялся не суда, а мести...

Ведь она же отомстила мне, — вдруг прошептал Анатолий, и знакомое выражение безумия опять сверкнуло в его взгляде. — На следующий день Мария заболела и была осуждена на смерть, а в лесу появилась... моя судьба...

Он не договорил и как-то испуганно замолк; мне становилось страшно; пароксизм безумия, казалось, приближался. Он продолжал изменившимся голосом:

— Мы шли с Марией в лесу, мы возвращались с прогулки; пошел холодный проливной дождь, мы бежали, а за нами шла она и выла... Мария знала все... она знала судьбу... Она задыхалась от бега, дрожала от ужаса, спотыкаясь, цепляясь за меня руками, и озиралась, как ребенок... Напрасно я успокаивал, говорил, что она не опасна... ах, все напрасно! Напрасно я призывал докторов, когда она заболела плевритом, а затем чахоткой... Напрасно умолял уехать: она не хотела покидать родного гнезда...

Я помню эти ужасные белые цветы, осенние цветы, забрызганные красным, когда она закашлялась в цветнике, и в первый раз брызнула кровь. Мария пожалела меня и хотела улыбнуться, а потом углы ее рта дрогнули и опу-

тились... и вдруг послышался из леса этот ужасный вой... Она бросилась ко мне и разрыдалась, и долго-долго плакала, как-то судорожно цепляясь за мою одежду...

Я смотрел на Анатолия; мне казалось, что слезы должны брызнуть и облегчить эти ужасные воспоминания, но голос его звучал все холоднее и выражение безумия все росло в глазах.

— С тех пор, — говорил он, — судьба следила за нами... Она выла и ночью, и днем; и тогда, когда Мария старалась бороться с болезнью, когда она наряжалась для меня в свои лучшие платья, когда с румянцем лихорадки на щеках она хотела быть прекрасной и желанной для меня, когда старалась смеяться, пока сухой кашель не прерывал ее болезненного смеха, когда слезы отчаяния неудержимо лились из ее глаз... Она выла и тогда, когда Мария отдавала мне последние поцелуи, и в ужасные часы, когда она говорила о смерти и брала с меня клятвы и составила эту надпись на могиле, — и тогда раздавался этот протяжный вой. Он страшил Марию, он не давал ей хоть раз спокойно вздохнуть в последние дни жизни, он вел ее в могилу, как неотступный палач. Она пряталась в подушки, закрывая уши своими чудными кудрями... она пряталась, но от судьбы нельзя спрятаться; она знала, что и мне не укрыться от нее, и это всего больше мучило бедную Марию... И вот, в час ее кончины, ночью, мы были одни, она была в забытьи...

Не знаю почему, Анатолий встал при этих словах; он говорил машинально, стальные глаза его неподвижно смотрели в черное окно.

— Она очнулась и, умирая, взглянула на мою руку; она увидела кровь на моей руке и прошептала, глубоко и испуганно глядя мне в глаза: «Аглая живет... берегись...» И даже в это мгновение ее смерти, вот здесь, у самого окна раздался...

Анатолий, как безумный, подбежал к окну... Он не успел кончить фразы, когда под самыми окнами раздался невыразимо яростный, злорадный, подавляющий душу вой. Меня обдало холодом, словно вместе с этим звуком ворвалась и холодная буря ночи. Волчица, очевидно, была в парке.

Стентор с громким лаем выбежал.

Анатолий вскочил с искаженным судорогой лицом. Выражение ужаса на нем через мгновение сменилось какой-то зверской, нечеловеческой злобой. Он схватил одно из висевших на стене ружей и скорее выскочил, чем выбежал из комнаты. Впопыхах, зарядив другое, я последовал за ним. Лай Стентора раздавался где-то в лесу. Я подумал, что найду Анатолия в конюшне, и действительно застал его там. Он сидел на неоседланную лошадь с ружьем в руке и без шляпы.

— Анатолий! — закричал я издали.

Он махнул рукой и, ударив лошадь прикладом ружья, поскакал, крикнув мне в ответ несколько слов, из которых я мог только разобрать: «Это она... я должен...» Остальное унесла буря...

Конечно, мне оставалось только мчаться за ним, но, будучи очень неопытным наездником, я не мог следовать его примеру и должен был оседлать коня. Кучера не было. Пока я разыскивал все необходимое и, как всегда в этих случаях, путал и тормозил дело, прошло, по крайней мере, минут пять. За это время он мог ускакать довольно далеко, а я не знал леса.

Впрочем, это все соображаю теперь; тогда же я был весь под влиянием одного слепого импульса и действовал совершенно инстинктивно.

Никогда не забуду этой ночи с порывами ветра до того яростными, до того одушевленными, что они казались отвратительными эманациями могучих и злобных сил. Единственным моим руководителем был лай Стентора, слышавшийся, впрочем, только в моменты относительного затишья; единственным освещением был свет луны, скрытой за тяжелым, истерзанным, безобразно движущимся тряпьем туч, гонимых с дикой быстротой по небу. Иногда мне удавалось, как будто бы, приблизиться к Стентору; я не сомневался, что к нему же стремился и Анатолий. Тогда я звал его изо всей силы, что, впрочем, было совершенно бесполезно, так как при оглушительном реве мятущихся деревьев он, конечно, не мог меня услышать, но и в этом пос-

леднем случае не могло быть надежды остановить его. Как назло, я натыкался на чащи и другие непреодолимые препятствия и не знал, куда направляться, чтобы объехать их. Несмотря на все усилия, мысль моя начинала лихорадочно работать. Что значат слова: «Это она, я должен»? Они не могли относиться к волчице, так же, как я не мог сомневаться, что слышал именно ее вой, а это было известно Анатолию. Но тогда, что же они означали? Холодное предчувствие леденило мне душу. Я не мог без содрогания вспомнить загадочного поверья о смерти последнего из рода Бич-Каргановых.

Я начинал терять равновесие и думал, что если когда-нибудь суждено сбыться пророчеству, то именно эта ужасная ночь должна страшно гармонировать и, как мне казалось, предрасполагать к развязке трагедии, задуманной судьбой...

В борьбе со всевозможными препятствиями скачка длилась уже довольно долго, но буря не стихала, а все усиливалась, терзаясь непостижимой яростью. Конь мой, казалось, приуσταвал. Наконец, проскакав лесом по дороге, где ветви до крови исхлестали меня по лицу, я выехал на чистое место. Оно показалось мне знакомым. Передо мной было длинное болото, усеянное кочками и кое-где поросшее тощей ободранной березкой. Не оставалось сомнений: это было «Гнилое пятно». Разгулявшись на просторе, буря носилась здесь с неудержимой силой, порой закручиваясь в вихре круговой пляски. Куча оторванных сухих листьев кружилась над болотом в беспокойном ритме и казалась мне отвратительным полчищем летучих мышей. Лай Стентора как будто бы приближался. Я помчался ему навстречу по дороге над топью. На повороте, у знакомой сосны, я осадил коня, чтобы прислушаться, и здесь глазам моим представилось зрелище или, вернее, группа, как бы вылитая из металла. Как изваяние, до сих пор, несмотря на умчавшиеся годы, она стоит предо мной и с тяжестью свинца подавляет сознание. Спинай ко мне, без шапки, совершенно неподвижный, как будто взглянувший в глаза Медузы, стоял Анатолий с ружьем в руках. Я не мог видеть его лица, но

по напряженности всей позы, выгнутой назад настолько, что можно было поражаться, как удавалось ему держаться на ногах, не падая навзничь, по судорожно запрокинутой голове, я мог догадаться, что человек этот переживает ту стадию ужаса, которую можно испытать лишь раз. Шагах в пяти за ним, но так, что я мог ее видеть, так же неподвижно стояла огромная волчица.

Луна вышла из-за туч, все контуры виднелись ясно. «Ружье не заряжено», — была моя первая мысль, вторая — стрелять самому. Так бы я и сделал, будь у меня пуля в ружье; в такой момент я рискнул бы, несмотря на ночное время и опасность положения — человек и зверь стояли почти на одной линии; но ружье было заряжено летками, и риск был слишком велик. Я соскочил в сторону, чтобы иметь возможность стрелять, но в это мгновение что-то черное (это был Стентор) прыгнуло из чащи. Волчица сделала два громадных прыжка, и вслед за тем прогремел выстрел Анатолия; зверь тяжело рухнул на землю, и так же тяжело в мое сознание ударилась мысль о зловещем предсказании.

Стентор подскочил к ней, но затем вдруг, я не знал почему, с воем забился в кусты.

Мы с Анатолием подроспели почти вместе; он бежал, шатаясь и, нагнувшись к волчице, вдруг вскрикнул и застыл так же отчаянно и невыразимо ужасно, как и окружавшая нас буря и ночь.

— Что с тобой? — закричал я.

Он повернулся ко мне, и я увидел лицо, в котором уже не было ничего человеческого; это был скорее призрак, даже не ужас, а какое-то беспредельное безумие...

— Это она, — прохрипел он.

— Кто она, волчица?

— Аглая...

Я посмотрел на волчицу, и то, что увидел, не забуду никогда.

Прямо на нас глядели широко раскрытые, налитые зверской яростью, но совершенно человеческие и, как мне казалось, женские глаза...

— Это она, — слабее прошептал Анатолий, как человек,

лишившийся дыхания, и вдруг, схватившись за грудь, упал навзничь.

Я нагнулся и приклонил ухо к его сердцу: оно не билось...

Я поднял голову, и опять прямо на меня глядели страшные, злорадной яростью сверкавшие женские глаза...

Я не мог больше выдержать этого взгляда; выстрелив почти в упор, машинально, не целясь, я бежал к дому так, как только может бежать человек, наяву увидевший чудовищный образ...

Телеграфировав отцу покойного, я в ту же ночь уехал окольными путями, потому что ни за что в жизни не решился бы пробраться снова той же дорогой, так же, как никогда уже не вернусь на место этой ужасной мистерии...



# МРАМОРНОЕ ПОМЕСТЬЕ

Мистическая повесть врача



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Мудрецам и векам непокорный  
Видит их ворон черный...

Тысячи мыслей осаждают меня, когда я вспоминаю Мару и Эрика.

О, с тех пор я узнал многое и излечился от многого, но до сих пор не могу простить себе одного: как мог я, врач, немного даже гордившийся широтой своего кругозора и своими познаниями по психологии (мне теперь невозможно говорить иначе, как со смехом, об академической психологии), как мог я оказаться столь поразительным невеждой и среди множества часто ненужных знаний не знать самого главного и нужного?..

Теперь весна, начало мая. Из моего окна видно, как на улице девочки торгуют ландышами и пристают к вечно куда-то спешащим, отмахивающимся прохожим. Из моего окна видно, как на медленных колесницах провозят покойников. Как их много в начале мая, и как охотно им дарят цветы и охотно провожают к цветущим кладбищам и охотно в теплые дни говорят им длинные речи.

Из моего окна видно, как подпрыгивающие приват-доценты и уже солидные профессора вразвалку спешат читать лекции по психологии, по «психологии без души», как теперь говорят.

О, да! Духа нет. Материя покорена духом, и все же его нет. Весь девятнадцатый век — это сплошная победа над материей, но только нигде не виден победитель. Его отрицали, им никто не интересовался, он весь потонул во мраке суеверий, давно отвергнутых.

О, конечно, профессора теперешние не думают ничего отрицать, «но это область веры, а не науки». В кабинетах экспериментальной психологии заняты вычислением времени «простейших реакций», исследованием «кривых» внимания; там улавливают соотношения между раздражением

и ощущением и тысячи других открытий и «законов»; теоретики устанавливают тончайшие классификации, которым надлежит осветить «психический механизм». Противники ассоциалистов глубокомысленно выводят за скобки активность той самой души, которой совершенно не интересуются.

О, это сложнейшая из молотилок — современная психология.

К сожалению, однако, по миру от нее летит одна половина, а зерно куда-то непостижимым образом ускользает.

Поговорите вы когда-нибудь с господином профессором!

Для вас тогда представится случай наблюдать или выскомерную снисходительность, или же банальное остроумие, как только речь зайдет о той области феноменологии духа, для которой не отводит места строго научная программа.

«Мы изучаем лишь то, что строго закономерно и доступно широкому контролю лабораторных опытов; что же касается каких-то случайных, редких явлений, если даже допустить их весьма гадательную реальность, то для психологии они столь же бесплодны, как для физики шаровидная молния, по слову одного знаменитого ученого»\*.

Для психологии бесплодны, говорите вы? А для человека? Быть может, он и помимо вашей жалкой психологии сумел бы отыскать свою бессмертную душу, если бы вы своими высокоавторитетными предостережениями не преградили ему путь к ней.

Впрочем, к чему эта полемика? Я уже говорил, что тысячи мыслей осаждают меня, когда вспоминаю Мару, потому что область, отвергнутая наукой, — необъятна, а главное, она бесконечно важна, так как только она и ничто более способна разрешить все высшие проблемы человеческого духа, в сравнении с которыми то, что разрабатывает современная наука, есть лишь тлен и суета сует.

Одно еще я скажу только потому, что так много погребальных колесниц в мае. Я скажу вам: зачем вы гроб уби-

---

\* Менделеева (Прим. авт.).

раете цветами? Зачем? Зачем провожаете вы смертные останки, это простое смешение химических тел? зачем не похороните вы убрать это тело, не зароете его куда попало? Зачем строите склепы, ставите кресты, ограды и целые монументы? Зачем эти медленные, торжественные процессии? зачем это последнее целование? Зачем надгробные песнопенья, над созданием которых работали и работают лучшие художники? И, наконец, зачем говорите вы эти речи над трупами и обращаетесь к мертвецам, называя их по имени, точно они могут вас услышать? Зачем, раз в бессмертную душу вы не веруете, зачем эта недостойная комедия? Не потому ли, что кто-то другой в вас, вопреки доводам вашего слабого рассудка, успел испокон веков нашептать великую истину и, объятые торжественностью минуты, вы хоть на время слышите в себе голос столетий и потому говорите так, как надо говорить, и думаете так, как надо думать?

Впрочем, прочтите сперва о том, что мне пришлось видеть, и тогда судите, кто из нас прав.

## I

В тот день, когда ко мне постучалась некая, как потом оказалось, Федора, я был недавно назначенным земским врачом в местечке М.

Была весна, и, хотя местечко М. не отличалось чистотой, но при моем жилище оказалось несколько кустов сирени, и возможность подышать их ароматом за стаканом чая, сидя на веранде, тем более соблазняла меня, что, несмотря на раннее время, я уже успел вернуться домой после одного изрядно утомительного визита.

Вот почему вид довольно жалкого кабриолета за окном и стук в дверь не доставили мне особого удовольствия.

Вошедшая худощавая, плоская женщина лет за сорок несколько поразила меня своей наружностью. Глаза ее, не то серые, не то зеленые, смотрели, не мигая и как будто не

видя, не на меня, а куда-то мимо; на подбородке торчали редкие, жесткие волосы.

— Откуда ты?

— Из «Мраморного», — голос ее звучал по-мужски и притом хрипло. — Дохтура треба...

В ту пору я еще ничего не знал о «Мраморном».

— Далеко это?

— Так што верстов семь будэ.

— Что это село «Мраморное»?

— Ни, помещицкэ. — Федора почему-то широко улыбнулась, показывая крепкие, желтоватые зубы. Казалось, она улыбалась посторонним мыслям, и улыбка на время застыла наподобие маски на ее лице.

— Хорошо, подожди.

Я задал Федоре еще несколько необходимых вопросов. Выяснилось, что меня приглашают потому, что барышня кашляет.

Мы поехали. Дорогой я старался узнать все, что могло меня интересовать в этом случае. Что такое «Мраморное поместье» и кто его обитатели? Добыть сведения у Федоры было нелегко. Отвечала она сбивчиво, нескладно, часто совершенно не понимала спрашиваемого, к тому же была глуховата, и нередко в ответ на мои вопросы текла ее речь к лошади, столь же немногосложная, но выразительная.

Федора усердно стегала каштановую кобылку, причем каждый раз удивленно хмыкала.

— Гм... ледача... жрет добрэ, хвороба, а нэякой в нэй сылы нэма. Гэтть! Гэтть! гладуха! — выкрикивала она гортанным басом.

Мне удалось узнать, что обитатели «Мраморного поместья», Багдасаровы, вдова с дочерью, когда-то были богаты, муж был «енерал», а теперь обеднели и жили на маленьком хуторе десятин в 40, причем единственной их прислугой была Федора, совмещавшая в себе должности кухарки, горничной, дворника и кучера.

Больше ничего из Федоры выжать не удавалось, почему я решил молча наслаждаться весенним днем. Дорога по мере приближения к «Мраморному» становилась и лесис-

тее, и волнистее; на лесных болотах цвели пышные желтые ирисы и какой-то белый пушок; слышалось молодцеватое щелканье дроздов и кукованье кукушек. Когда мы проезжали селом, то даже бедные хатенки полешуков показались мне нарядными, по крайней мере там, где цвели яблони и вишни, слышалось жужжанье пчел, как какая-то детски радостная болтовня.

В двух верстах от села показалась какая-то старая не то башня, не то колокольня с капличкой. Она стояла среди могил и цветущих вишен, на пригорке, против огромной лесной топи. Место было глухое, кругом леса. Я узнал впоследствии, что когда-то это было семейное кладбище помещика, теперь же земля сдана в аренду, и место считалось нечистым.

На высоком бронзовом кресте сидел ворон. Я с любопытством рассматривал его, потому что это не была обыкновенная галка, а настоящий ворон — птица довольно редкая, величиной гораздо больше галки, почти с утку.

Когда мы поравнялись, Федора, ни разу не взглянувшая по сторонам, вскинула глазами на башню, даже, как мне показалось, именно на ворона, и несколько раз перекрестилась. Вслед нам раздалось очень низкое, как бы грудное карканье птицы, ворвавшееся некоторым диссонансом в музыку весеннего дня.

— Знов кавкае... — проворчала Федора, и в первый раз на ее почти бессмысленном лице я мог ясно прочесть чувство злобы и, кажется, страха.

— И на що ему кавкаты, хиба що знов на гуску?

Упоминание о какой-то гуске рассмешило меня, но я уже по опыту знал, что расспрашивать Федору утомительно, а потому промолчал.

В «Мраморном» с первого взгляда ничто не привлекло моего внимания. Проезжая дорога осталась влево, уходя в лес, мы же свернули направо и подъезжали к дому старым, довольно запущенным парком. Кажется, на границе он сливался с лесом.

Предо мной был обширный и несколько причудливый, как все старые помещичьи постройки, барский дом, но ни-

где никаких следов мрамора. Зато упоительно со всех сторон пахло сиренью.

Меня приняли в гостиной, обстановка которой красноречиво свидетельствовала как о былой роскоши, так и о настоящей бедности.

Вдова Багдасарова, высокая, полная женщина лет под 50, по-видимому, для встречи была одета в старомодное, но довольно богатое платье из черного шелка с кружевной шалью на плечах. Кроме того, я сразу мог заметить, что она сильно набелена, черные брови наведены карандашом и волосы покрашены.

— Милости просим, пожалуйста! рады новому гостю. Что ж это вы? молодой человек, а общества не любите? — говорила госпожа Багдасарова немного нараспев. — Я уж давно слышала, что нового доктора назначили, да и говорю Марочке: «Вот это человек молодой, кавалер, будет нас с тобой навешать, тебе веселее станет». А она у меня, знаете, с причудами. Гостей не любит. Только из помещиков заглянет кто-нибудь, с охоты заедут или так, с визитом, а я к ней: «Скорей одевайся, — говорю, — женихи приехали...»

— Мама, — раздался за стеной раздраженный женский голос, и вслед за тем хлопнула дверь.

— Вот видите, какая она у меня дикарка: уже в сад убежала. Поговорить не дает, не любит, куда там! А чего молчать-то? За день-деньской разве мало намолчишься вдвоем? Сама ходит надутая, хоть бы слово сказала... Молчим себе, как сычи в глуши. Да с кем тут и разговаривать? Только она да Федора на весь хутор. С Федорой-то, сами подумайте, какой разговор. Ну, зайдет человек, я тут с радости и пойду болтать, на то и язык дан. Говорю, как мельница, рада, что есть кому слушать. А она...

— Ваша дочь больна?.. — вставил я.

— Да кто ее знает? Вам лучше видно будет. А по-моему, знаете, как посмотрю я на нынешних молодых людей, так все больны, все ходят, точно в воду опущенные, да со странностями, да с причудами... Не то что бы, как раньше, повеселиться, да собрать соседей на пикник, да с песнями, с музыкой...

— Но, все-таки, на что же, собственно, жалуется ваша дочь?

— Жалуется?! Ну нет, это раньше было, что дочь матери и пожалуется, и расскажет все, как следует. А теперь — куда там, не подступись. Все — «Отстань! дай покой!» — а сами посудите, какого тут еще покоя надо? Уж покойней, чем у нас, разве что в могиле...

— В чем же выражается нездоровье вашей дочери? Прислуга говорила мне, что больная кашляет.

— Вот погодите, дайте срок, все расскажу. В деревне, куда тут торопиться, на все времени хватит. Я и дочери намедни то же самое говорю. Захотелось ей в Мраморной комнате сидеть. Есть тут у нас такая: кто ее знает, на что она; видно, чудаков всегда было вдоволь. Вот и построили всю комнату из мрамора; у нас и так холодища такие, спрятаться некуда, а тут те камень да камень... Вот смех-то! А ей загорелось: «Топи, Федора, в комнате княгини!» — так она называется. И какая там княгиня, шальная... Я говорю: «Погоди, Мара, камин поподчиним, тогда топить будем». А на дворе, скажу вам, еще и снега-то порядком не стаяли. Комната нежилая, а она — топи да топи, а то в нетопленную пойду. А уж дочери моей, как что взбредет на ум, то и подавай. Федора и давай топить. Да разве вмиг дело сделается, только дым коромыслом. В том дыму и холоде она и просидела всю ночь. Уж Бог вас знает, молодые люди, чем там заняться можно, на мраморе сидючи. Вот с того самого времени и кашляет. А все потому, что дурь в голове. Замуж пора. И разве женихов мало было, да только женихи к воротам, а она в двери, да и поминай, как звали. Таковую невесту пестом в ступе не поймаеть.

Хотя врачебная практика уже успела выработать во мне обычную развязность врача, я все же не знал, как остановить поток речей госпожи Багдасаровой, но, наконец, потеряв терпение, решил просить отвести меня к больной.

— А вы все спешите! — удивленно вскинула глазами госпожа Багдасарова. — Ну что ж, задерживать не буду. Посмотрите на мою барышню. Вы человек молодой и она мо-

лодая. Вам лучше понимать друг друга. Где мне, старухе, за вами угоняться!..

Вы не стесняйтесь, — прибавила она, заметив недоумение на моем лице, — у нас все попросту; вот в эти двери сойдете в сад, там и найдете нашу дикарку. Нечего ей от молодых людей прятаться. Вам без меня свободней будет. А у меня, не взыщите, тоже дело есть.

С этими словами, проводив меня до дверей, госпожа Багдасарова исчезла, предоставив мне самому разыскивать свою пациентку.

По приглашению госпожи Багдасаровой я вышел в сад, если только правильно назвать садом то, что я увидел.

Дело в том, что парк весь был расположен на противоположной стороне дома, где, как я упомянул уже, он сливался с лесом; моим же глазам по сю сторону дома представился совсем необычайный пейзаж. Я стоял на открытой гранитной веранде; предо мной была аллея искусственных холмов, связанных между собой мостиками. Пред самой верандой она расширялась в полукруг. В центре полукруга я увидел смесь зеленых листьев дикого винограда и чего-то белого, блестящего в ярких полуденных лучах.

Движимый любопытством, я не сошел, а скорее сбежал с веранды, и тогда моим глазам представились остатки мраморного фонтана в виде гигантского тюльпана. Сравнительно тонкий стебель, подточенный ненастным, чуждым мрамору климатом, сломился и при его падении разбилась, конечно, и чаша цветка, хотя каким-то чудом на дне фонтана оставалась еще нетронутой половина мраморного кубка.

В изумлении я совершенно забыл о цели своего посещения и несколько минут, восхищенный и даже взволнованный, любовался великолепными остатками красивого, но хрупкого цветка, любовно прикрытыми сильными побегами дикого винограда.

День был недвижно тихий, ярко-солнечный, но холодноватый. В этой тишине, красиво ее оттеняя, лилось непрерывным, порой чуть колеблющимся легкими прибоями током журчание пчел.



Когда я, очнувшись, поднял глаза, то представившаяся моим глазам картина, не виденная мною ясно с боковой стороны веранды, еще больше зачаровала меня. Холмы, мостики между ними, и всюду море цветов и дикого винограда. Цветы, правда, были простые: петунии, флоксы, петушки; но зато их было до чрезмерности много. Получалось впечатление, точно семена рассыпались пригоршнями, куда попало, и потому дорожки местами оказались почти заросшими цветами. Каждый из мостиков когда-то, по видимому, поддерживался двумя мраморными колоннами. Теперь некоторые из них уже лежали на земле, вместе с упавшими, также мраморными мостами. Мосты почти всюду были заменены деревянными и это сильно портило бы картину, если бы не дикий виноград, какого я никогда в жизни не видел. Он справлял над этими руинами какую-то хмельную тризну роскошью и своевольным разгулом побегов.

Мостики, колонны, холмы, с местами еще сохранившимися мраморными ступенями, все это сверху донизу с неопишуемой пышностью и изобилием было покрыто диким виноградом, а отдельные ветви, не находя места на колоннах и мостах, свешиваясь, буйными побегами ложились на дорожки и цветы...

## II

В детстве у меня была одна особенность. Всякое новое место я осматривал с чрезвычайной жадностью. Я не мог найти успокоения, не побывав в каждой заросли, в каждом овраге, в канавах, ямах, на чердаках, в подвалах, в погребах, и не могло быть сокровенного места, куда бы не повлекло меня ненасытное любопытство.

Именно такое чувство охватило меня теперь.

Забыв о существовании своей пациентки, я помчался по дорожке вдоль аллеи холмов и мостиков, чтобы взглянуть, что там дальше; по пути, однако, остановился. Дело в

том, что внутренние, вдоль аллеи лежащие стороны холмов, были срезаны, и отвесные поверхности их заделаны мраморными плитами. Виноградные одежды холмов были так густы, что плит я сперва не заметил, также как не заметил и остатков маленьких мраморных фонтанов возле каждой плиты. Все это было затеряно в винограде.

Но на одном из холмов (их в аллее, не считая полукруга, было по семи с каждой стороны) плита была обнажена. Виноград, видимо, был срезан по краям плиты. Здесь с обеих сторон холма росли две великолепных сосны: больше деревьев не было.

На плите виднелся вырезанный в мраморе небольшой крест, а под ним также вырезанные буквы.

Подойдя ближе, я прочел два слова по-итальянски: «*Sono stanca*».

Не зная итальянского языка, я не понял надписи. Испытанное чувство легкой досады, должно быть, несколько отрезвило восторг и, возвращая к действительности, напомнило о существовании моей пациентки.

На вершине каждого холмика была площадка с перилами и скамьями. На одной из них я заметил большой серый зонт из тех, какими обыкновенно пользуются художники.

Я подошел к холму и поднялся по ступенькам, из которых, кажется, одна сохранилась мраморной. Остальные были деревянные. Я с трудом пробирался, путаясь ногами в густых побегах винограда, и на площадке нашел Мару.

Должен сознаться, что красота молодой девушки поразила меня. В ней было что-то южное, и вместе с тем что-то мягкое.

Мара была шатенка среднего роста с рыжеватым, как у мадонн Мурильо, отливом волос. Такие волосы довольно часты на юге. Что-то южное было также в золотисто-оливковом отливе кожи. Даже в фигуре ее заметна была особенная четкая рельефность линий красивых южных женщин. Не знаю почему, я сразу обратил внимание на эти особенности. Может быть, потому, что фамилия Багдасаровых напомнила мне одну молдаванскую семью однофамильцев,

с которыми приходилось встречаться на юге России.

Мара сидела на маленькой подножной скамеечке; раскрытый зонт стоял в стороне. В руках у нее была тетрадка. Она так задумалась над ней, что даже не слыхала, как я вошел на площадку. Я чувствовал, что испугаю ее и сказал как можно мягче:

— Простите, что я мешаю...

Она слегка вскрикнула и вскочила со скамейки, приложив руку к груди.

— Я здешний врач... Успокойтесь, ради Бога, — продолжал я, видя, как она порывисто дышит.

— Это ничего, извините... неожиданность... — еле выговорила она.

— Позвольте, я принесу воды...

— Не надо.

Я все-таки побежал за водой и, повстречав Федору, быстро раздобыл стакан воды.

Молодая девушка внушила мне мгновенную симпатию.

Выпив воды, она извинилась за то, что мне пришлось ее разыскивать.

— Наоборот, — отвечал я, — мне представился случай побывать на этих холмах, а такую вещь не каждый день видишь. У вас здесь удивительно красиво.

Действительно, пейзаж был великолепен. Все необходимые элементы были налицо. За нами темными объятиями широко раскинулся лес. Перед нами мягкий склон, засаженный молодым садом в цвету, внизу окаймлялся извилинами реки. Равнина, на которой мы находились, справа невдалеке круто обрывалась над рекой. Обрыв, заросший орешником и березкой, находясь на нашем берегу, тем не менее, был почти против нас, так как река полупетлей заворачивала в этом месте для того, чтобы дальше разлиться в бесконечную даль по лугам, на которых блестели ее разливы и мелкие озера. С левой стороны река протекала перпендикулярно к аллее холмов, причем, подходя к левому крылу бывшего за нами леса, вдали сливалась с ним. Эта схема не дает, конечно, достаточного представления ни о красоте залитых солнцем красок, ни о гипноти-

зирующем влиянии тихого падения лепестков цветущего сада под крыльями жужжавших пчел, ни о неге слегка припекавшего утреннего солнца.

Очарованный, я оторвал взор от блеска раскинутых озер и обернулся к Маре, и тут только рассмотрел ее глаза. Если бы я не боялся показаться слишком банальным, то сказал бы, что взор мой от ярких, веселых озер попал в тихие, затененные и печальные. Эти глаза что-то напоминали... Она спокойно сидела на садовой скамье и смотрела вдаль. Что они мне напоминают, не дымчатым цветом, а своим выражением много пережившей усталости? Я знал, что, силясь припомнить, буду рассеян, а потому, стараясь не поддаться своему настроению, пытался создать атмосферу спокойного доверия, столь необходимую для врача.

— Ну-с, — начал я... О, это «ну-с»! Как часто раздражали меня молодые коллеги, ничего другого, кроме этого «ну-с», у профессора не перенявшие. И все-таки я сказал:

— Ну-с, теперь, когда вы немного успокоились, позвольте мне не приступать сразу к своим обязанностям, а поговорить с вами в качестве случайного гостя этой прелестной усадьбы.

Развязность у меня деланная, но я очень хорошо ею владею, когда нужно. Эти слова произвели некоторое действие. Девушка улыбнулась, правда, одними губами. Глаза остались усталыми, но в них на мгновение мелькнуло любопытство.

— Я очень рада... Здесь очень хорошо, но иногда слишком одиноко.

Она говорила очень тихо и просто.

— Это нехорошо. Может быть, и нервы у вас пошаливают оттого?

— Нет, это не потому...

Заметив по мгновенно потемневшим глазам девушки и чуть дрогнувшим бровям, что затронул что-то, я быстро вставил:

— А вас никто не навещает из соседей?

— К маме приезжают иногда по делам, но это деловые люди...

Она, видимо, затруднялась продолжать, но я понял и добавил:

— А скажите, пожалуйста, неужели и зиму вы проводите в этой глуши?

— При жизни папы я почти не выезжала отсюда.

— Значит, вы получили домашнее образование?

— Да, а после смерти отца и Анютки...

— Это была ваша сестра?

— Нет... Да, я забыла, что вы не знаете. Это была... моя подруга.

Я заметил, что она замялась...

— Когда она умерла, мне было очень тоскливо одной. Я держала экзамены и поступила в К-кий университет.

— На какой факультет?

— На медицинский.

— А, значит мы в некотором роде коллеги. Я тоже из К-го университета. И вы кончили?

— Нет, я была всего... всего некоторое время...

Мне хотелось спросить, почему она бросила университет, но я заметил, что нервная девушка запнулась на последних словах.

Произошла короткая пауза, после которой она с неожиданным интересом спросила меня:

— А вы когда кончили?

— Пять лет прошло.

— Пять... Значит, вы не могли...

— Что?

— Нет, это я думала, что, может быть, общие знакомые...

Руки ее беспокойно сжали свернутую трубкой коленкорую тетрадку...

— Но если пять лет тому назад, то, значит, вы не могли знать...

Запнувшись, девушка слегка побледнела. Как врач, привыкший к наблюдениям, я не мог не заметить этих частых перемен и подумал вскользь о том, что нужно будет внимательно выслушать сердце, но прежде мне хотелось подержать оборвавшийся разговор. Случайно взор мой упал

на предмет, привлечший мое внимание: он лежал на скамейке возле Мары; это был стебель и чашечка лилии из мрамора.

— Как у вас тут много мрамора!

— Да, когда-то тут почти все было из мрамора. Это я нашла в одном из мраморных фонтанов.

— А скажите, не знаете ли вы, что значит эта надпись на холме под крестом: «Sono stanca»?

Она перевела на меня свои прекрасные, окаймленные легкой синевой, усталые глаза и со странным, неподражаемо красивым выражением сказала:

— Я устала...

Эти слова так гармонировали с общим впечатлением, какое она производила, что в первый момент мне показалось, что она жалуется на усталость.

— Это значение надписи? — переспросил я.

— Да.

Из дальнейшего разговора для меня выяснилось, что в красивой усадьбе Багдасаровых царила почти нищета. Сорок десятин земли отдавались в аренду крестьянам и давали самый незначительный доход, а генеральская пенсия, как я мог догадываться, уходила на выплаты старых долгов. В огромной конюшне стояла единственная лошаденка, на которой я приехал, а единственной роскошью было море дикого винограда и цветов, которые Мара очень любила и сама сеяла. Молодой сад был посажен покойным генералом за два года до смерти и еще не давал доходов. Выгодно продать красивую усадьбу было бы легко, если бы не глушь места. Кажется, госпожа Багдасарова прилагала усилия в этом направлении, но, когда я заговорил о том с Марой, глаза ее обратились на меня с таким непосредственным испугом и губы так болезненно скривились, что я поспешил переменить разговор. Нервным движением девушка уронила тетрадку, из которой выпал листок. Передавая его ей, я заметил рисунок карандашом: офицер в форме старого времени с ментиком.

«Ага! вот они, мечты», — подумал я, и почему-то мне стало досадно, должно быть, потому, что впечатление это

как-то не вязалось с атмосферой исключительности, которой, казалось, веяло от Мары.

Беседуя со мной, девушка изредка обращала ко мне взгляд, и тогда взгляд этот с некоторой тревожной пытливостью направлялся прямо в глаза собеседнику, чтобы потом опять потонуть вдали горизонта, где ярко на зелени лугов блестели изгибы реки, заливы и озерца.

Мысль моя о нервности девушки слегка коснулась представления об истерии. Посмотрев на сверкание воды на лугах, похожее на фиксационную точку в экспериментах Шарко с истеричными, и желая от личной почвы перевести разговор на общую, я сказал, подхватывая первую попавшуюся мысль:

— Знаете ли, у вас тут так хорошо, солнце нежит, пчелы жужжат, так что, глядя на эти блестящие озера, можно впасть в особое состояние, именуемое сомнамбулизмом...

Не знаю, было ли это кстати... Мой расчет был тот, что о сомнамбулизме она, должно быть, кое-что слышала и, как врача, начнет меня расспрашивать об этом всех интересующем предмете, хотя бы для того, чтобы поддержать разговор. Правда, по этому вопросу я сам немного мог сказать, по своими объяснениями все-таки рассчитывал немного развлечь ее.

Однако, когда я упомянул о сомнамбулизме, она несомненно вздрогнула и, кажется, еще более побледнела. В это время как раз пронесся быстрый взлет майского, холодноватого ветра.

Девушка вздрогнула еще раз: на ней была простенькая голубая блузка из батиста.

— Эге! первый долг укутать больную, если ей холодно. Я сейчас раздобуду вам платок.

— Не беспокойтесь, — крикнула она мне вслед, когда я быстро уходил за платком.

Мы, врачи, привыкаем по необходимости наблюдать и анализировать. Что я первый раз побежал за водой, это еще ничего, но что я теперь бегу за платком, в этом, должен сознаться, было нечто большее, чем одно желание исполнить долг врача. И вот, несмотря на то, что девушка нахо-

дится, несомненно, под влиянием какой-то очень тяжелой драмы и ей не до меня, так же несомненно, что дальше я все больше буду действовать в сторону личных интересов. Мне стало немного досадно и досада эта еще возросла, когда госпожа Багдасарова, передавая мне платок, не преминула заметить:

— Вот это кавалер, сразу видно, что кавалер. Куда нашей деревенщине! Пока они барышние платок с пола подымут, так, глядишь, три раза на ногу наступят, ей-Богу, правда. Потому их дочь моя и не любит... Куда им, пентюхам, до барышень!.. — и так далее, в том же роде.

Платок оказался изрядно потертым и замусоленным. Я уверен был, что Маре будет неприятно получить из посторонних рук такой грязный платок и не знаю, как бы выпутался из затруднения, если бы не встретил ее по пути.

Я — врач, и по свойству своей профессии мне приходится чаще встречаться с прозой и безобразием жизни, чем с ее красотами. Поэтому не знаю, достаточно ли развита во мне поэтическая чуткость, но в тот момент, когда увидел, как Мара шла по аллее холмов и мостиков, я не мог не испытать некоторое волнение, которое позволительно, быть может, назвать эстетическим.

Залитая солнцем фигура и весь облик девушки были одновременно и гармонией, и контрастом к тому, что ее окружало. Она подходила и как бы сливалась с нежностью и ароматом цветов, по ковру которых ей почти приходилось ступать; она еще больше, быть может, имела общего с экзотической странностью окружавших нас мраморных руин, так же, как и она, каким-то чудом оказавшихся на русском Полесье. Там и сям обломки мрамора белели из-под зелени винограда, и, казалось, в ее немного наклоненной к земле головке было что-то такое же сломанное, как в той мраморной лилии, которую она несла в руке, и эта сломанность Мары составляла яркий и грустный контраст со сверканьем весеннего солнца и спешной работой жужжавших пчел.

Покрыть эту красоту грязным платком казалось мне в этот момент каким-то кощунством.



О, молодость! Сердце мое забилося, потому что я не знал, куда деть платок.

Случилось, однако, что Мара не увидела меня, проходя мимо по соседней с моей дорожке. Тогда я решился. Быстро сунув платок под листья винограда у одного из холмов, я нагнал девушку и, овладев собой, сказал в обычном тоне:

— Вы возвращаетесь? Ну, хорошо, приступим к делу. Будьте добры поставить себе этот термометр и позвольте мне зайти к вам минут через десять.

— Хорошо. Моя комната возле передней, левая дверь.

Она ушла. Взобравшись на один из снабженных всходами холмов, я принялся бродить по мостам, останавливаясь на каждой площадке. Все они были обнесены перилами и всюду тяжело увешены диким виноградом. За перилами как площадок, так и мостов везде сохранились выступы. Видно, когда-то здесь разводились еще висячие цветники. Я дошел до последнего холма и по переброшенному на другой конец мосту, поддержанному двумя колоннами, мог перебраться на противоположные холмы аллеи. Этот путь приводил меня обратно к гранитной веранде.

Как ни любопытна была для меня каждая подробность красивого и необычайного сооружения, мысль все останавливалась на Маре и резюмировала впечатления о ней. В разговоре с этой девушкой я все время натыкался на какие-то больные места, о которых она говорить не хотела, но не умела также отвечать на мои вопросы о себе с непринужденностью светской женщины, умеющей поболтать обо всем и ничего, в сущности, не сказать.

Как интересовавшая меня девушка, так и фантастическая странность окружавшей обстановки дали крылья моей фантазии и десять минут вскоре уже близились к концу, когда до меня донесся ожесточенный бас, иногда сбивавшийся на сопрановые ноты, в котором я не замедлил узнать голос Федоры, изредка перебиваемый спокойными репликами госпожи Багдасаровой.

По долетавшим фразам я мог понять, что у Федоры «знов чуску попусвало; в цём року вже шоста, бо знов погань за-кавказала».

Ввиду этого падежа Федора проклинала «кавкуна», от которого, по ее мнению, исходили все «напасти» жизни. Еще более доставалось ее покойному «чоловику», служившему у «енерала» лесником. Ему она неустанно твердила, «штоб ту скаженну птыцю з рушныцы вбыл», на что ее муж, по-видимому, неизменно отвечал, что убить ее нельзя, потому что «заклятие на нэи е».

— Якэ воно, дурню, заклятте, — кричала Федора, точно «чоловик» ее стоял перед ней, — а рушныця у тэбэ е, никчемныця, ледача, а шрот е, просторика мизэрный, стрелэц паскудный!..

На это покойник возражал, что «ца птыця священна».

— Священна! — взвизгивала Федора. — Нэ ты вже, дурню, став священный, як тэбэ пип крестив?!

За этим следовала отборная ругань. Далее Федора уже со слезой вспоминала, как до «смэрти» закавкал кавкун ее «чоловика». Перебираясь весной через болото против башни, где обыкновенно сидела зловещая птица, он попал в так называемое окно и погиб, причем люди слышали и видели, как кавкун глазувал з него и на посмих кавкал...

Между этим красноречием госпожа Багдасарова вставляла равнодушно:

— Ну, полно тебе чепуху несть. Спеши-ка с обедом для доктора, ведь проголодался уже молодой человек...

Упоминание о «дохтуре» вызвало новый взрыв восклицаний, и Федора стала усиленно призывать меня в свидетели злополучного «кавканья».

Эта сценка, прервав течение мыслей, вернула меня к действительности. Мы с госпожой Багдасаровой одновременно вошли в комнату Мары, причем по пути мне удалось отделаться от злополучного платка.

— И вы здесь? — радостно вскинула глазами госпожа Багдасарова. — Вот легок на помине! А я то сейчас торопила стряпуху нашу, чтоб обед готовила. Верно, проголодались, человек ведь вы молодой, а пока сюда к нам доберешься... Ну, как же вы находите нашу красавицу?

— А вот сейчас посмотрим.

— Вот это, Марочка, тебе кавалер, так кавалер, куда

нашим. А ты бы, милая, блузку сняла, да лифчик и еще что потребуется... стесняться нечего, на то и доктор...

Во время болтовни матери Мара, видимо, волновалась и отпечаток почти физической боли не сходил с ее лица. При последних словах девушка густо покраснела и резко отвечала:

— Мама, я сама знаю, что нужно. Оставь нас, пожалуйста, вдвоем...

Я заметил, что глаза у Мары стали черными, брови властно сжались; она в первый раз при мне закашляла.

— Вот видите, какая она у нас, — говорила госпожа Багдасарова, уходя. — Ну, да Бог с вами, молодыми. Пойду, своим делом займусь...

Я принялся исследовать больную.

### III

Сердце у Мары оказалось таким, какое мы, врачи, называем неврастеническим, но в такой необычайной степени, что я тогда не допускал возможности существования второго такого сердца. Порочных шумов не было, но, слушая его в стетоскоп, мне казалось, что другой невидимый оператор все время теребит, как бы играя блуждающим и симпатическим нервами, до того неровен и прихотлив был его ритм.

Верхушка одного легкого была задета. Я вспомнил золотое правило одного многоопытного клинициста: если легкие задеты, следите за горлом — это ближайший под угрозой пункт.

Проклятье! в горле была краснота. Это мог быть простой катар. В первой стадии скоротечная чахотка от него неотличима, но при совокупности обстоятельств у меня сжалось сердце за Мару. Термометр и расспросы не давали утешительных показаний. Кроме того, в покашливании Мары мне чудились особые нотки специфической хрипоты, ничего хорошего не предвещавшие.

— Доктор, — вдруг решительно и неожиданно сказала Мара. Глаза ее как-то холодней посмотрели на меня и она мне показалась немного старше, чем раньше.

— Я знаю, чем я больна. Я читала, я знаю, почему вы вслед за легкими осмотрели горло.

Она прямо и глубоко посмотрела мне в глаза. Но я хорошо владею собой и думаю, что доктора должны лгать, вопреки нравственной философии Канта.

— Это было бы любопытно, — отвечал я, смеясь, — ибо я сам не могу вам сказать ничего определенного. Вот давайте рассудим. Я всегда говорю правду даже тяжело больным. Вот я и вам скажу, что нашел у вас слабость легких, даже более того; есть и маленький выдох, есть маленькое уплотнение. Но, несмотря на хороший слух, я в стетоскоп не могу различить, инфекционный ли это очаг, или же рубец от уже ликвидированного процесса. А в горле у вас легкий катар. Кашель ваш так называемый трахеический: это неопасная, но скучная вещь, очень плохо действующая на нервы и продолжающаяся иногда очень долго.

Я видел по лицу Мары, задумчиво глядевшей в окно, что она не верит моим объяснениям. Это было мне, как врачу, неприятно. Я имел в виду нервность девушки и, продолжая говорить в том же тоне, напряженно подыскивал в уме что-нибудь такое, что могло бы одним ударом поколебать ее печальную уверенность.

— Осенью следовало бы поехать на юг. Это впрочем, не обязательно, можно и без этого обойтись, но если есть возможность, то почему же не закончить там лечение?

Я говорил это как бы про себя, с беспечностью и нарочно не глядя на Мару.

Она молчала. Я взглянул. Она стояла у окна, свет ярко озарил ее глаза с синей тенью у ресниц. Они были широко раскрыты и смотрели так, точно видение проносилось перед ними. Я уверен, что Мара забыла в этот момент, где она находится. Такое выражение рисуют на иконах святых великомучениц, мелькнуло у меня.

— На юг, — шепнула она про себя, — на юг...

— Если хотите, — вставил я тихо.

Она уже очнулась и говорила мне быстро, почти рассеянно, но с оттенком просьбы в голосе:

— Я знаю, что будет... Все равно, я поняла вас, но только не говорите так больше... Я знаю, что меня ждет, но мне все-таки будет приятно, если вы будете приезжать...

Я простился с ней и уже был в передней, намереваясь разыскать госпожу Багдасарову, когда дверь ее комнаты снова открылась, и Мара, стоя на пороге, спросила меня:

— Вот вы, доктор, говорили о сомнамбулизме... Вы ведь должны знать, правда ли, что сомнамбулы, когда приходят в себя, никогда не помнят ничего, что было?

Она стояла в дверях и такой именно я всегда вспоминаю ее. Она показалась мне гораздо младше меня, совсем девочкой, даже ростом как будто стала меньше и спрашивала меня, как старшего.

— Да, правда, пока не придут опять в состояние сомнамбулизма.

— А если не придут?

— Тогда не помнят.

— Никогда, никогда?

Бедная Мара, если бы я мог тогда угадать, как важен был мой ответ на это детское «никогда, никогда», то, должно быть, не отвечал бы так категорически, тем более, что о сомнамбулизме сам знал немного, но я «должен ведь знать» и потому сказал уверенно:

— Никогда.

Я помню, как тогда ее глаза наполнились даже не печалью, а тем испугом, который бывает у детей, когда им рассказывают страшные истории. Кажется, слезы блеснули на них. Но это было только мгновение. Она слегка отвернула голову и, не глядя на меня, шепнула: «До свидания», — так тихо, что я едва расслышал. Дверь захлопнулась. Мне хотелось пойти за ней, расспросить. Этот миг сказал мне вдруг так много, что тяжело было сразу оторваться от Мары, но сделать это я не решался. Я вынес тогда очень тяжелое впечатление и помню, что от разговора с госпожой Багдасаровой мне стало досадно. Госпоже Багдасаровой, от которой я нее скрыл своих опасений за здоровье ее дочери,

мой совет во что бы то ни стало отправить ее немедленно в горы на юг, кажется, был неприятен. Я советовал спешность поездки объяснить тревогой матери, вызванной моим предложением ехать осенью. Она говорила то о недостатке средств, то о том, что дочери замуж пора и от того все болезни и все это переплетала всяческим вздором, к делу не относящимся, от которого становилось темно и тошно на душе.

Отказавшись от ее обеда и еле отделившись от расспросов, сплетен и прибауток, сыпавшихся как из рога изобилия, я поехал домой на той же каштановой кобылке и с той же Федорой. Федора угрюмо молчала, да я и забыл совершенно об ее присутствии, занятый своими мыслями.

Я думал о Маре и среди многих мыслей внезапно вспомнил, что напоминали мне ее глаза, когда они бывали спокойны.

Это были глаза одного мальчика четырех лет, моего пациента. Ребенок был болен скарлатиной. Мне пришлось лично по настоянию родителей перевозить его зимой в автомобиле с одной квартиры другую. На новой квартире его посадили на оттоманку, прислуга была заняла переноской вещей из автомобиля, и мне случилось некоторое время побыть с ним одному.

На стуле возле оттоманки стояла электрическая лампочка с зеленым, из шелка, почти прозрачным абажуром. Он сидел в голубой плюшевой шубке, ослабевший и беспомощный, в белой меховой шапочке и, совершенно не интересуясь ни новой обстановкой, ни моим присутствием, задумчиво смотрел на огонь.

В этом мягком освещении его глаза, оттененные жаром, были замечательно красивы. Но не это привлекло мое внимание и врезалось в память. В них было особое выражение. Они были и детски чистые, и в то же время старческие. Такая глубокая усталость, такая глубокая печаль была в этих глазах, точно клубок длинной жизни распутывался перед ними со всей бесконечной вереницей переживаний. Я смотрел в эти глаза, не отрываясь, и своим глазам не верил.

Я думал: «Да ведь он смотрит в прошлое, он уже прожил не одну жизнь, этот ребенок», и в этот момент мне казалось несомненным, вообще доказанным старинное верование во множественность существований.

Такие глаза были у Мары. В них была печаль и усталость и эту печаль мне хотелось рассеять, эту усталость вылечить. Но не суждено было. Дома я застал телеграмму из Италии. От матери. Мать-старушка страдала астмой и по моему настоянию доживала остаток жизни и маленького состояния в приморской санатории. Находившаяся при ней родственница извещала меня, что положение больной ухудшилось и требует моего присутствия. В этот же вечер я уехал; должен сознаться, что, несмотря на беспокойство о матери, болезнь которой, впрочем, не составляла для меня неожиданности, мысль о Маре не покидала меня. Преобладающее чувство было такое: вот я еду на юг и совершенно здоров, она больна; ей следовало бы поехать.

Местечковую земскую лечебницу я поручил знакомому старику-доктору, проживавшему на покое поблизости. Его же я просил извещать меня относительно Мары, но никаких писем от него не имел, потому что, как он объяснил впоследствии, и писать нечего было. Его приглашали два раза; он посмотрел, постучал, прописал порошки, а больше его и не звали. Матушка моя умерла через четыре месяца. Болезнь ее не давала настолько серьезных улучшений за это время, чтобы я мог уехать, а потому уехал после ее кончины, через четыре месяца. В конце августа я вернулся в местечко М. и сейчас же узнал о смерти Мары. Тогда же священник, у которого я нанимал квартиру, передал мне пакет, присланный в мое отсутствие из Мраморного...

Я с жадностью и волнением бросился распечатывать его. Почему-то я уверен был, что пакет от Мары.

В нем оказалась обыкновенная, так называемая, общая тетрадь в коленкоровой обложке. Что это, дневник? Сердце у меня забилося.

Все, что осталось от еще недавно со мной говорившей девушки, у меня в руках. Острую грусть навеяла на меня эта

жалкая маленькая тетрабочка. Бедная Мара...

Когда я раскрыл тетрадку, из нее выпал листок: должно быть, руки у меня дрожали. Это было коротенькое письмо от Мары, адресованное земскому врачу местечка М.

Я прочел:

«Извините меня. Я имени вашего не знаю. Если эта тетрадь вам неинтересна, то вы ее порвите, не читая, а мне сейчас все-таки легче. Я должна вам ее передать, потому что не в силах уничтожить. Мне показалось, что вы неплохой человек. Мне нужно, чтобы я хоть думать могла о ком-нибудь, кто бы мог немного помочь мне перед смертью. Может быть, вы еще успеете приехать. Вы совсем, совсем чужой человек, но, кажется, если бы вы были здесь, я спокойно умерла бы.

Почему я одна, вы можете узнать из этой тетради. До свиданья. Я уверена, не знаю почему, я уверена, что еще раз мы увидимся. Умиравшие, кажется, никогда не ошибаются.

М...»

#### IV

Бедная Мара!.. Видно, и умирающие могут ошибаться. Тронула ли меня судьба жалкой девушки или доверие умиравшей, но дневник Мары я читал так внимательно, точно покойная была моей любимой сестрой. Каждое слово для меня было полно интереса, но интерес этот чисто субъективный, а потому, вкратце передавая содержание дневника, я позволяю себе выписать целиком лишь несколько страничек. Центральным мотивом его следует считать духовное одиночество Мары, после разрыва с Раутским и смерти Анютки ставшее окончательным.

Матери у Мары в сущности не было, ибо даже самое поверхностное знакомство с госпожой Багдасаровой должно



быть успело выяснить читателю, что ничего общего между ней и чуткой, несколько экзальтированной девушкой не могло быть.

Генерал Багдасаров, погруженный в широкие коммерческие спекуляции, совершенно не интересовался ни женой, ни дочерью, но этой последней он оказал случайную услугу, затормозив ее налаживавшийся брак с Раутским, опять-таки по коммерческим соображениям.

Раутский, владелец небольшого имения, представлялся ему претендентом слишком незначительным. Это был, по видимому, хорошо образованный, ловкий и вместе с тем циничный молодой человек, мечтавший получить вместе с невестой и богатые поместья генерала. Ему не хватало только выдержки. В отношениях с Марой он ловко маскировал как свои затаенные мечты, так и настоящую природу, стараясь всеми средствами удовлетворить хорошо им понятому идеализму девушки.

Свободное обладание всевозможными воззрениями и умение интересно поговорить о чем угодно давали ему возможность показаться перед невестой в самом выгодном свете при совместном чтении книг или в разговоре о том, что Мара читала чаще всего по его выбору.

Сватовство Раутского было отклонено отцом ссылкой на молодость невесты: Маре в это время было семнадцать лет. Однако, истинные причины несговорчивости тестя не укрылись от Раутского, и он решил ускорить дело иным путем.

Из дневника Мары ясно видно: во-первых, что Раутский сделал, хотя и очень осторожную, попытку овладеть невестой, во-вторых, что истинный ее характер остался для неопытной девушки неясным. При всем своем природном уме, идеальная сфера мышления Мары в тот момент исключала еще возможность проникновения как в цели, так и в руководящие мотивы попытки Раутского.

Однако, инстинктивно девушка оказала отпор намерению соблазнителя и, даже не поняв его цели, осталась недовольной и оскорбленной. Правда, разрыва не произошло. Через некоторое время Раутский успел предложить на-

встречу расцветавшему чувству Мары достаточные основания для объяснения своего поступка, но шрам от удара остался. Девушка стала настороже. Быть может, однако, планы Раутского и могли бы осуществиться, если бы он не сделал еще более крупной ошибки.

У Мары служанкой была Анютка, преданная ей девушка ее возраста, сирота. Анютка, простая дочь народа, но чуткая и одаренная, была страстно привязана к Маре, и в сущности, несмотря на разницу образования и положения, девушки, как это иногда случается, были почти подругами.

Просмотрел ли Раутский истинный характер отношений обеих девушек, или же поддался чувственному порыву, но только он решился на поступок, слишком рискованный в его положении.

Воспользовавшись отсутствием Мары, в тот день уехавшей кататься верхом, Раутский направил весь свой чувственный натиск в сторону Анютки, но здесь встретил такое бешеное сопротивление, какого, конечно, совершенно не ожидал. Эта вторичная неудача оказалась для него фатальной. Удар был сокрушающий и бесповоротный. Мара застала бедную девушку бьющейся на постели в почти истерических рыданиях. В дневнике, полгода спустя, об этом рассказано так:

«Когда я увидела, как моя бедная Анютка плачет, то была так встревожена и поражена, что сама почти плакала.

На все мои вопросы Анютка только умоляла не спрашивать и твердила, всхлипывая:

— Ой, барышня моя, ой, золотко, ой зогоется, само зогоется!..

Я чувствовала себя совершенно беспомощной пред ее слезами и тогда вспомнила, что видела его лошадь, привязанную у конюшни.

— А где Константин Фролович? Анютка, скажи!..

Я очень нуждалась в его помощи в эту минуту. При упоминании о нем Анютка вся затряслась и запрятала голову в мое платье, чтобы не кричать. Тут какая-то смутная мысль

ударила меня.

— Может быть, случилось с ним что-нибудь? Анютка, скажи, сейчас же скажи. Лошадь одна... без него?.. Анютка!

От каждого моего вопроса Анютка ежилась и вздрагивала, как от удара; слезы градом катились с ее лица; но всеми силами она старалась сказать «нет», отрицательно махая руками. В то же время она с таким беспокойством хваталась за мои руки, точно с каждым новым вопросом о нем какая-то опасность угрожала мне...

Тогда вдруг в одно мгновение это ее беспокойство стало для меня ключом всего происшедшего. Новая мысль, никогда мне в голову не приходившая, пришла со стороны воспоминанием из чего-то вычитанного в романах, что иногда случается... и я сразу все поняла.

— Анютка, он обидел тебя?.. — вскрикнула я и окаменела.

Бедная Анютка: она так сжала меня в своих объятиях, так целовала мои руки, точно предо мной была виновата. Сначала боль так сдавила мне сердце, что я не могла сказать ей ни одного слова. Потом почти мгновенно другое, совершенно незнакомое чувство гнева вспыхнуло во мне и, чем больше душа накалялась, тем спокойнее я становилась.

И все таки... все не так, может быть, как-нибудь иначе кончилось бы, если бы он не вошел в ту минуту с вопросом:

— Что тут такое произошло? Отчего она плачет?

— Произошло то, Константин Фролович, — отвечала я совершенно спокойно и вдруг почувствовала, что это кто-то другой говорит, — произошло то, что вы нагло оскорбили эту девушку, и если вы до сих пор еще здесь, то только потому, что у меня нет брата, который бы...

— Я оскорбил?!.. Ведь это безобразие! Девушка давно вешается мне на шею, и только плачет оттого, что я ее презираю, а вам лжет, будто...

— Ой, барышня, барышня!.. — могла только вскрикнуть Анютка, но в этом возгласе было столько отчаяния, что все мое спокойствие вдруг прорвалось.

— Прочь отсюда! — крикнула я.

— Вы сами виноваты!.. — закричал он, увидев, что игра проиграна.

— Прочь!.. — я почувствовала, что дрожу.

— Нужно было самой быть податливей!..

Это последнее слово обожгло меня: я почувствовала совершенно ясно, как горячая волна кипятком залила мне грудь. Не знаю, был ли у меня хлыст в руках или оказался поблизости, но помню, что с невероятной быстротой изо всей силы я ударила Раутского по лицу.

Кажется, он схватился рукой за лицо, а потом, может быть, он сам хотел меня ударить, потому что между нами вдруг оказалась Анютка и как-то надвигалась на него... Я не видела ее лица, но, верно, оно было страшное, потому что в его глазах я прочла испуг, и в это мгновение я вдруг почувствовала сразу и огромное презрение к нему и наслаждение от того удара, который нанесла.

Только когда он вышел, сил мне не хватило, я ощутила какой-то перелом и пустоту, но чувство отвращения осталось... Теперь мне стыдно вспомнить, что этот человек целовал мои руки, что однажды я сама... Нет, противно написать...»

Обстоятельства не щадили Мару. В самом непродолжительном времени последовала скоропостижная смерть отца, не пережившего своего разорения. После его смерти выяснилось, что от обширных владений осталось для семьи каких-нибудь 40 десятин с усадьбой и генеральская пенсия.

О смерти отца у Мары сказано: «Только теперь я почувствовала, как бесконечно далек он был от меня и какое было бы счастье иметь настоящего отца».

Вслед за этим последовала гораздо более тяжелая утрата. Хрупкая, преданная Анютка умерла на руках у Мары.

Это, быть может, самые трогательные страницы дневника, но я не буду задерживать на них внимания читателя. Я отмечаю только, что эта потеря завершила начавшийся ранее перелом в душе Мары: девушка почувствовала в полной мере гнетущее одиночество и безысходное разочарование в жизни.

Вместе с тем, властным, почти поглощающим объятием охватывает Мару мистицизм. По этому пути мысль направляется двумя быстро совершившимися на ее глазах кончинами, из которых гибель Анютки, конечно, влияет главным образом. Как истинная дочь народа, Анютка пред концом обнаружила свою полную, через край души переливающуюся, непререкаемую веру в загробную жизнь. Все то, что сказано было умиравшей в бреду ли горячки, в долгие ли часы медленного угасания с глазу на глаз с подругой, все, что говорится в страстном экстазе, все, что шепчется медленно, с перерывами, когда страшная тишина дышит реальностью смерти и доказывает недосказанное, когда кажется, что в ясновидящих глазах подруги уже видишь марево потустороннего, странным волнением захватывающее сердце, все то, что в жуткой тиши переливается прямо из глаз в глаза, из одной души в другую, все это неодолимой силой захватило Мару. На многих страницах дневника мысль ее неотлучно носится около всего сказанного Анюткой во время болезни; припоминается весь раньше почерпнутый у подруги запас народных верований: о непокойных домах, где являются призраки, о душах самоубийц, блуждающих у перекрестков, о тех, кто приходит просить молитв или же, терзаемый невыполненной земной долей, просит ее завершения, кто сам за гробом любит и заботится о живых, кто терзается там совестью и приносит покаяние и многое другое. Все это углубляется Марой до степени почти философского созерцания, и потусторонний мир тем более становится убежищем ее мечты, чем глубже пессимизм разъедает ее душу. Быть может, и раньше Мара бессознательно испытывала на себе влияние странной обстановки Мраморного поместья, но только теперь внимание ее сознательно останавливается на экзотической причудливости фонтанов, мостов и плит из мрамора, Бог весть откуда и когда привезенного.

«Sono stanca», странная надпись над крестом, где, должно быть, зарыт кто-то, производит на нее сильное впечатление. Из словаря она узнает значение надписи: «Я устала...» Это совпадает с ее настроением, слова кажутся кра-

сиво звучащими, ей хочется знать итальянский язык. И тут у нее впервые является мысль о какой-то залитой солнцем, у моря раскинутой, утопающей в зелени и пене «ослепительно дальней стране...» Прошу читателя заметить, что это не совсем обычное сочетание слов: «ослепительно дальняя страна» я нашел в дневнике Мары ранее, чем мне пришлось его прочесть вторично при обстоятельствах столь странных, что я совершенно отказываюсь от всякого к ним комментария.

## V

Раутский не был сразу забыт Марой. Она долго мучительно вспоминала о нем, стараясь найти оправдание или объяснение для предмета своей первой девической любви, пытаясь как-нибудь найти выход из противоречия между тем, что создано было искусством Раутского, ее юными грезами и тем, что неумолимо доказывали факты.

Если можно так притворяться, то где же истина и где ложь, и как отличить одно от другого, и не все ли лживо в этом мире?

Истиной была чистая, пылкая душа Анютки, но почему же ей так рано пришлось уйти в другой мир? не потому ли, что только там приют истины?

Вывод этот все чаще навязывается Маре и, в конце концов, нераздельно овладевает всей ее душой. «Да, только там истина, там возможна и истинная любовь, и счастье... Может быть, оно совсем не похоже на нашу жизнь, совсем, совсем другое, мгновенное, как видение, странное, как сон, но только истинное, чистое и бесконечно красивое». Психологу, быть может, интересно было бы проследить, как невозможность оперировать иными образами, кроме земных, сочетаясь со страстным желанием девушки представить себе потусторонний мир, направляет фантазию к картинам юга, не виданного Марой, но до известной степени знакомого по описаниям; как одно представление до такой

степени смешивается, чередуясь с другим, что стремление девушки к югу приобретает болезненно повышенный, экзотический характер.

Но главное, что дает толчок первому тяготению Мары на юг, это странная обстановка «Мраморного поместья». Я уже говорил о самом мраморе, о могильной надписи на итальянском языке.

Мне следует еще добавить, что в некоторых комнатах барского дома в стены были вделаны большие мраморные плиты и на них золотом нанесены стихи. С двумя стихотворениями нам придется познакомиться впоследствии, и тогда читателю станет яснее, каковое влияние они оказывали на Мару.

В дневнике Мара много говорит о мучениях какой-то княгини, бывшей владелицы Мраморного поместья, но нигде в точности их не приводит. Пульс страстного бреда молодой девушки все учащается, и Мара доходит до галлюцинаций. Чтобы дать о них представление, я позволю себе привести несколько страничек дневника.

«Нет, это был не сон. Ведь я очнулась в Мраморной комнате, а легла у себя. Значит, это было так, что я зажгла свечу и вышла. Почему же еще с вечера я зажгла лампы вокруг Мраморной комнаты и все урны наполнила водой?

Почему никогда раньше мне не приходило это в голову, а в этот день с утра я об этом думала? Почему крыша показалась мне стеклянной, когда она железная? Я ясно помню, как вошла и, когда увидела луну через крышу, уронила от изумления свечу... А комната так и осталась освещенной лунным сиянием, и лилось оно через стеклянную крышу. Я сразу заметила, что кровать была переставлена.

Я посмотрела туда, где она раньше стояла: изголовьем к мраморной плите со стихами... Мне показалось, что плита совсем чистая и стихов нет. Тогда я подумала сначала, что сплю, потом, что в отблесках мрамора мне их не видно, и сделала несколько шагов. Нет, луна ярко озаряла мрамор, и на нем не было ни единого пятнышка, ни одной буквы.

Я смотрела на чистый мрамор и постепенно шаг за ша-

гом стала ощущать, как мною овладевает чья-то сила, которой должна была подчиняться, и в то же время почувствовала, что в комнате, кроме страшной этой силы, есть еще кто-то и что нужно обернуться. Я обернулась и увидала его. Кто это был? Страх мой прошел, мне только хотелось видеть: кто это? Какой он? В углу комнаты была тень. Там он сидел у стола, подпирая голову руками... Я сразу почувствовала, что у него большое горе. Даже в тени я хорошо видела его одежду. Это офицерское платье с ментиком, такое, каких теперь нет. Я чувствовала, что он молод, хотя волосы белые. Нет, это не его волосы — это парик. Но почему я не могу видеть его лица? Точно облако мне закрывает его лицо, и я чувствую, что та самая владеющая сила не позволяет мне увидеть...

Потом я увидела ее и почему-то я стала понимать, что она призрак, мертвая, а он живой и стала ощущать все то, что он чувствует. Через маленькие окошечки в комнате было видно ее белое платье. Я почувствовала, что он дрожит... Сперва она прошла мимо и шаги ее были совершенно ясно слышны, как у живой, а между тем, я знала, что она мертва. Она прошла коридором в комнаты; я даже слышала ее шаги по всему дому... Она переходила из одной комнаты в другую, я слышала, как она открывала шкафы и ящики, точно искала чего-то...

Потом, когда она возвращалась, я знала, что она войдет и мне снова стало страшно. Я хотела подбежать к нему, но снова оказалась во власти чего-то, владеющего, мне казалось, всем, что происходит. Я делала усилия, чтобы освободиться; она подходила к дверям... Я ослабела и потеряла сознание... Это было, должно быть, лишь одно мгновение. Я еще слышала, как он вскрикнул, а очнувшись, увидела ее.

Она стояла ко мне спиной в белом платье с фатой. Я не видела ее лица и чувствовала, что не должна видеть. У нее в руках было маленькое серебряное ведро и кисточка. Она писала на мраморной плите золотыми буквами. Я помню каждое слово того стихотворения, я читала его раньше, но только теперь оно врезалось мне в память. Я чувст-



вовала, как он плачет, с каким ужасным страданием впитывает золотые буквы, как нестерпимо жжет его каждое слово. Я помню, как застонал он при словах:

И была бы я, милый, русалок сестра,  
И плыла бы к тебе вечерами...

и когда она написала:

И все глуше звучал, нарастая, сугроб,  
И суровые сосны скрипели...

он во второй раз вскрикнул, точно она прикоснулась к его ране. Одного я не могу вспомнить... Ведь она продолжала писать еще две строфы, но я не могу их припомнить, как ни напрягаю память. Знаю только, что весь он просветлел в темном углу. Я не видела, но чувствовала. Точно что-то бесконечно радостное она обещала этими строфами, что-то такое, что стирало всю горечь уже написанного...

Когда она кончила писать, я чувствовала, что она обернется к нему, и в то же время владеющая странная сила не хочет, чтобы я увидела ее... Тогда я напрягла все усилия, но в то же время у меня потускнело в глазах или же это так и было, только я увидела, как она стала таять. Она уже не стояла на полу, а как будто качалась в воздухе, и вот уже не было видно, и подол белого платья исчезал. Она медленно поворачивала голову, я не могла сделать ни одного движения и в то же время мне показалось, что я захожу с другой стороны. Я увидела ее, наконец, и вскрикнула, потому что мне почудилось, что она странно на меня похожа, точно я увидела себя саму, только старше, и лицо у нее, как после болезни, такое бледно-красивое. Кажется, я в это мгновение увидела и его лицо, но не могу припомнить.

Я вскрикнула, почувствовала, что падаю, и очнулась от падения на полу Мраморной комнаты... Нет, это не могло быть сном. Это что-то такое, что было, что-то значительное и как-то со мной связанное. Почему она...»

На этих словах запись сна обрывается. Немного дальше Мара говорит: «Где-то я читала, что есть такие люди, которые иногда могут видеть тот, другой мир. Должно быть, такие люди не могут лгать. Они почти святые. Если бы я могла встретить...»

Этой мечте Мары суждено было исполниться. По крайней мере, судьба готовила ей довольно загадочную встречу.

Я старался передать содержание дневника возможно конструктивнее, извлекая только то, что казалось мне необходимым для понимания последующего. Теперь мне придется полностью привести несколько мест. Должен для ясности сообщить, что выдержки эти будут из дневника Мары-студентки медицинского факультета. Из некоторых отрывочных данных дневника видно, что одиночество стало для девушки совершенно невыносимым, и ее потянуло к кипучей сутолоке университетских центров. Можно также догадаться, что стремление стать на ноги и зарабатывать средства связано было с мечтой этим путем достигнуть желанного юга.

Вот несколько выдержек.

«Какая странная красота в музыке! Почему она волнует, если ничего не может сказать? Ведь звуки не говорят, а между тем, душа их понимает, нет, не понимает, а чувствует как-то.

Где-то я читала, что все в природе имеет свое назначение. Неужели способность понимать что-то необъяснимое только для того дана, чтобы слушать музыку, а если бы люди не придумали инструментов, то она так и пропала бы. Тут что-то неясное, но у меня нет никого, кто бы объяснил. Сегодня я по ошибке попала на лекцию математики. Профессор все что-то объяснял о мнимых и иррациональных величинах. Я поняла только, что иррациональное это то, о чем нельзя составить ясного понятия. Мне кажется, что это должно быть похоже на музыку. Завтра в первый раз в жизни пойду в оперу. Если денег не хватит на музыку, я буду обедать через день.

## VI

20 октября.

Если бы каждый день я могла слушать «Пиковую даму», то, кажется, забыла бы всю горечь жизни. Если бы умереть под эти звуки. Всю ночь я не могла спать после всего пережитого. Мне было хорошо, только температура опять поднялась, в горле к утру пересохло и я ослабела. Тот странный сон или, скорее, видение в Мраморной комнате опять воскресло предо мной. Когда виолончель запела эту задумчивую фразу: «Я имени ее не знаю», и он вошел, я чуть не вскрикнула, потому что тот в Мраморной комнате был одет именно так. Одежду я хорошо заметила. Откуда я могла ее выдумать во сне: значит, это не был сон. Я забыла даже, что это «Пиковая дама», что это из Пушкина, я не понимала, что там происходит, мне все казалось, что когда-то у нас дома они переживали всю эту красоту. Если он, действительно, ее любит, какое это счастье любить под звуки такой музыки, любить не в этом мире, а совсем в другом.

Откуда эти слезы, зачем оне;  
Мои девичьи грезы, вы изменили мне.

Эта нота так зазвенела и так красиво, так нежно упала мне на сердце, что я заплакала. Хорошо, что было темно в последнем ряду первого яруса, и с одной стороны проход. Но старушка, сидевшая рядом со мной, как я ни сдерживала себя, заметила, что я плачу, и взяла меня за руку.

— Успокойтесь, голубушка, может быть, вас в уборную отвести...

— Тише, тише, ради Бога... простите, что я вам помешала.

Она меня успокаивала, и я благодарна доброй женщине, но ведь музыка в это время все текла и текла, а у меня было только одно желание — не проронить ни одного звука.

Когда скрипки вдруг тревожно заторопились, я поняла, что сейчас что-то случится. Они оборвались на аккорде, и только одна нота продолжала звучать, когда он вбежал и остановился в дверях балкона. Не знаю, как я все могла заметить. Сердце стучало, одно мгновение мне показалось, что старушка услышит, но потом я все забыла. Опять перед мной встала Мраморная комната, где они пережили все это. Эта нота остановилась в ожидании и замерла, как они замерли.

Как это было красиво; теперь нет таких офицерских форм.

В театре мне было почему-то жалко, что я не видела его лица в Мраморной комнате.

— Остановитесь, умоляю вас....

Эти слова все звучат у меня в памяти; он, кажется, даже не пропел, а почти сказал их.

Потом, когда он запел:

Дай умереть, тебя благословляя,  
А не кляня,  
Могу ли день прожить, когда чужая  
Ты для меня...

я не знала, что лучше, музыка или слова.

В оркестре что-то стало глухо, как из-под земли волноваться и все нарастало... О Боже, зачем такая красота в мире?..

Он стал умолять ее, а мне казалось, что оркестр слишком нарастает, что его сейчас заглушат и не будет слышно нежного голоса, и я стала волноваться. Мне хотелось крикнуть об этом. Хотя я ясно слышала все слова, но столько страданий в этом голосе, так жалко было, что их увеличивает борьба с другими звуками, которые все дальше нарастали, что дыхание у меня захватывало и руки дрожали. И вдруг пронесся высокий сильный звук, такой сильный, что он покрыв и все остальные и ударил по всему залу:

Я жил тобой, тобой одною...

Я ничего не слышала другого, только его одного, он всю меня наполнил, точно подошел ко мне совсем близко, вплотную, и вся красота и сила хлынули на меня, и стало и больно, и сладко, и внутренний холод быстро пронизывал меня в то время, как лицо и руки горели.

Быстрые картины проносились: звуки из оркестра, как-то странно (кажется, у меня был жар) были похожи, точно это одно и то же, на каких-то птиц. Их было очень, очень много. Большей частью они были желтые и черные.

Он взбирался по крутым спадам, а она стояла на вершине. Все птицы кружились возле него. Они не рвали его когтями, а как-то трепетали возле него и этим мешали взбираться.

Но когда ему удавалось подняться уступом выше, тогда птицы волнами падали от него вглубь стремнины ниже, и там стаи их качались не то волнами, не то ореолом вокруг него, и становились голубыми, и так же менялась окраска гор и неба от черного, желтого до голубого. Кажется, тогда голос звучал выше и сильнее.

Меня пронизывало холодной дрожью и становилось от этих волн и звуков почти больно, и в этой боли блаженство охватывало меня; я вся застывала от напряжения, что-то сдавливало горло... Я уже не могла сдерживаться и плакала, и желала одного, чтобы эта мучительно-сладкая борьба голоса и звуков, это колебание образов таких красивых, какие никогда не снились мне раньше, чтобы вся эта красота и страдание длились бы без конца или замучили меня до смерти, чтобы самой перейти в другой мир и жить там среди нее...

Потом он пел:

Прости, небесное создание,  
Что я нарушил твой покой...

Да, небесная, небесная... Она, должно быть, и была небесной и потому устала жить. *Sono stanca*... И неужели там у нас, где я пережила столько горя со смертью Анютки, неужели там они пережили всю эту красоту? И все-таки ее

влекло в другую страну, в другой мир, потому что только минутами была эта красота, и тогда, должно быть, они уже жили в том мире...

В зале было темно и только в ложах можно было уловить поблескивание драгоценных брошек, а в ближайших ко мне я видела впереди женские головки, на некоторых красивые, большие шляпы; глаза блеснули в сумраке и в этом освещении все они казались красивыми и, должно быть, все так же жадно слушали, как и я. Так, по крайней мере, мне казалось... Но потом, в антракте, когда я сидела, пораженная всем пережитым, меня неприятно ослепил яркий свет. Мне кажется, что нужно было в сумерках сидеть и готовиться к следующему акту. Но кругом меня шли разговоры, я видела, как смеются и шутят. Значит, им непонятна вся эта красота?

Старушка сказала мне:

— Голубушка, вы то бледнеете, то краснеете, и слезы в глазах. Разве можно так! Вы успокойтесь. Это ж все одно представление, а ведь, небось, сами слышали, какова их жизнь актерская, беспутная.

Как она могла так говорить! Увидев по моему лицу, что я буду возражать, что мне это неприятно, она прибавила:

— Я, милая, для спокойствия вашего сказала. Жалко мне на вас смотреть было...

— Благодарю вас, благодарю, — отвечала я, пожав ее руку. — Только, ради Бога, не говорите мне этого, я очень вас прошу...

Слава Богу, в это время началось действие и прервало неприятный разговор.

Нервы мои до того утомились, что кончилось плохо.

Когда шла сцена в казармах и раздалось похоронное пение, я чувствовала, что разрыдаюсь, что нужно уйти, но не могла двинуться с места.

В окне показался призрак графини; я знала, что она войдет и, вспомнив, как в Мраморной комнате я потеряла сознание в этот момент, стала готовиться к этому. Может быть, потому, что я подумала о том, как все это может повториться, сердце замерло от страха, чтобы этого не случи-

лось в театре, но едва только распахнулись двери и показалась графиня, я вскрикнула, кажется, на весь театр и потеряла сознание.

Я очнулась в дамской уборной на диване, и что-то странное опять произошло со мной.

Я была еще очень слаба и, полуоткрыв глаза, увидела над собой лицо юноши. Не знаю почему, но мне показалось оно знакомым. Только будто бы давно-давно я не видела его и, увидев, так обрадовалась, таким дорогим оно мне было, что я сделала страшное усилие, чтобы потянуться к нему и не могла...

Но от этого усилия я окончательно пришла в себя и со стыдом увидела, что это незнакомый мне студент, и первая мысль моя была: неужели он заметил? Со страхом я пристально всмотрелась в него.

Он стоял, немного наклонившись ко мне. Лицо красивое, бледное, но выражение напряженное, страдающее...

Он смотрел на меня каким-то непонятным взглядом и вдруг сказал:

— Ты ли это?.. Ста...

В это время сильно ударили трубы оркестра.

Слово оборвалось, он вздрогнул всем телом, провел рукой по лбу и, не глядя на меня, вышел.

Как он странно смотрел! Должно быть, так смотрят, когда гипнотизируют. Но почему он показался мне знакомым сначала, пока я не очнулась?

— Ты ли это?

Значит, он тоже обознался. Какое странное совпадение. В комнате, кроме него, была эта добрая старушка и горничная при уборной. Должно быть, он перенес меня из залы в уборную.

Долго ли я лежала без сознания? Кажется, долго, потому что, когда я смогла встать, уже шел последний акт в игорном доме. Старушка не хотела меня пускать, потому что там опять привидение будет.

— Опять, голубушка, испугаетесь. Теперь все оперы так пишутся, чтобы и в голове шумело, и по нервам било. Лучше я вас домой свезу.

Но я все-таки пошла. Мне почему-то хотелось увидеть его. Зачем? Ведь я его совсем не знаю, а между тем, все время искала глазами, а потому не могла слушать так внимательно, как раньше.

Я увидела его в коридоре. Он совсем другой, не такой, как мне показалось. У него красивое лицо, но не такие особенные глаза, как мне почудилось. Он подавал ротонду и что-то спешно говорил маленькой хорошенькой блондинке в красивом, модном голубом платье с вырезом на груди.

Я заметила, что у нее большая родинка как раз в той ямочке на груди, где горло кончается. Платье на ней было очень богатое, изящное, и мне вдруг стало стыдно. Я заметила, что мое платье уже вышло из моды. До сих пор я об этом не думала. Я поторопилась надеть пальто.

Когда он встретился со мной глазами, то сразу стал пристально всматриваться.

Я покраснела и посмотрела в сторону, но почувствовала его взгляд на себе. Когда я подняла глаза, он еще смотрел. Я заметила, что блондинка тревожно переглянулась с видной старухой, бывшей с ними, и каким-то пожилым господином. Этот господин взял его под руку и почти насильно увел.

Какой странный! Мне кажется, он несчастный.

24 октября.

Три дня прошло. Я все еще думаю о том вечере и обо всем, что было в театре. Музыка все звучит у меня в голове. Ярче всего тот миг, когда он врывается.

«Остановитесь, умоляю вас!..»

И кроме музыки, что-то новое у меня в душе. Мне как будто бы веселей стало, но я не понимаю, почему. Как бы я хотела теперь иметь подругу. Здесь никого нет, кто бы мне нравился, хотя многие со мной знакомятся в аудиториях. Сегодня Надя Шатова заходила. Поговорила о лекциях и скоро ушла, потому что нам не о чем говорить, и мне все



еще слишком грустно, чтобы смеяться, как они смеются.

Почему-то у меня щеки горят, когда я думаю, что он меня вынес в уборную. Впрочем, зачем мне об этом думать?

27 октября.

Я гоню от себя мысль, но никак не могу. Много хожу по улицам и иногда даже не замечая, что ищу его. Толпа такая громадная и так всегда спешит, что нельзя разглядеть. Трамваи бегут быстро, а я всматриваюсь. Зачем я ищу?

Мне хочется спросить, за кого он меня принял. Мне кажется, что тогда выяснится, почему он показался мне знакомым, хотя, сколько я не припоминала, не могу припомнить. Я его нигде не встречала. Но сегодня мне снился сон. Я не помню, что было в этом сне, но только я его узнала, я обрадовалась, я его...

## VII

30 октября.

Я все боюсь, что вот-вот проснусь и все, что было вчера, окажется сном, моим дорогим, любимым сном. Тогда я хватаю тетрадку и перечитываю его стихотворение. Я давно его знаю наизусть, но все читаю и читаю без конца, потому что это он писал, потому что это единственное доказательство, что я не спала вчера.

Ах, Анютка, Анютка! Она ведь все понимала простой своей душой, все понимала, бедная моя неученая девочка... С тех пор у меня нет никого: среди ученых курсисток ни одной такой, как бы мне хотелось. Некому сказать и все пишешь, пишешь в эту тетрадку. Иногда я очень устаю, но все пишу и даже не знаю зачем. Мне давно уже хотелось

погулять в огромном университетском саду. Я так привыкла к нашему парку, что в городе скучаю за ним. А осень такая красивая, янтарная... Но сад заперт.

Надя Шатова говорила, что туда всегда можно попасть, если заплатить сторожу, но мне неловко было это сделать.

Вчера в шесть кончилась публичная лекция по литературе. Я была на ней, потому что надеялась его встретить, но его не было.

После лекции я решила, наконец, подкупить сторожа и попала в сад. Мне было так хорошо в саду, так неожиданно светло на душе, точно красота осени — это сильное, чудное лекарство.

Сад огромный и в нем никого, никого не было. Я бродила по незнакомым дорожкам и радовалась, что они незнакомые, и что листья шуршат под ногами. Сошла вниз, но там какие-то постройки, должно быть, люди, а потому я снова поднялась выше и скоро набрела на полянку, где стояло небольшое здание, стеклушка. Я долго высматривала, нет ли там людей. Никого не было. Тогда я решила перейти через полянку и подойти.

Давно я, кажется, не испытывала такой радости, как когда зашла в эту маленькую оранжерею. В глубине ее стояло несколько больших вазонов с деревьями, а кроме них, вся она была заполнена туберозами и хризантемами на стойках. Должно быть, запах тубероз опьянил меня, потому что вскоре голова у меня закружилась. Я села на скамейку, или это была пустая стойка для цветов, и погрузилась в какое-то тихое, тепличное забытие. Сейчас же музыка «Пиковой дамы» зазвучала в ушах. Я вспоминала все, что видела. И странно: мне кажется, что тогда все напевы всплывали в памяти, хотя я всего раз слышала их.

Но только прозвучав, каждая мелодия и каждая сцена оканчивались в моем воображении сценой и словами:

«Остановитесь, умоляю вас!..»

Вдруг что-то хрустнуло за зеленью больших вазонов. Я испугалась, вскочила и первое мое движение было бежать.

— Остановитесь, умоляю вас!..

Что это, сон, бред?.. Нет, действительно, кто-то сказал

эти слова.

Я остановилась, как вкопанная. Пораженная этим совпадением, я не могла двинуться. Может быть, туберозы пахли слишком сильно. Я не могла сделать также ни одного движения, когда развернулась зелень вазонов, и я увидела его.

Он был в том же студенческом сюртуке, как тогда и опять его глаза стали такими, как в тот вечер, и снова он пристально вглядывался каким-то зачарованным, странным взглядом.

— Это ты, ты, Станка?

Я вздрогнула от этого странного имени, от созвучия с надписью на могиле, но стояла недвижно... Только дышать мне стало тяжело и сердце бешено билось, но имя это так потрясло меня, что я не могла сказать ни слова.

Я долго не могла говорить, когда он подбежал ко мне и, взяв за руки, мягким движением усадил на скамью, а сам сел на землю возле меня и, не выпуская моих рук, прижал их к своему лицу на моих коленях.

— Станка, Станка, — шептал он, — наконец я встретил тебя, прости меня, прости меня, Станка.

Только когда я почувствовала его теплые слезы на своих руках, жалость к нему вернула мне силы:

— Успокойтесь, в чем вы виноваты предо мной?

— Я не знаю, не знаю, Станка, не могу вспомнить, потому что это было очень давно... Все, что было тогда, иногда всплывает предо мной, как какие-то ярко недвижимые, мертвые маски, и маски эти теснятся у меня в сердце... Я чувствую их, но когда хочу схватить, запечатлеть в памяти, они вдруг тускнеют, исчезают, и только ты, Станка, остаешься, одна ты остаешься, и я знаю, что страшно виноват пред тобой. Слышишь меня, Станка, мне жить очень тяжело, потому что я виноват... Но я должен жить...

Он поднял на меня свои странные, зачарованные глаза.

— Я должен жить, потому что моя жизнь — расплата, это — расплата. Станка... Слышишь, как они кричат, смотри, как они разносят это слово по земле...

Он поднял руку, указывая на стаи с криком летевших

над нами осенних галок.

— Видишь, они летят туда, где тополя вершинами держат закат, как алое знамя, и всюду, далеко за пределы этого заката, всюду разнесут они страшное слово «расплата»...

Он говорил это спешно, а некоторые слова шептал.

Я молчала, пораженная странным смыслом его речи и необычайностью выражений. Не знаю, почему не страшно, а только больно мне становилось, когда я стала понимать, что он безумный.

Когда он, видимо, очень возбужденный, умолял меня о прощении, я смущенно отвечала:

— Прощаю вас.

Он, видимо, успокоился от этих двух слов и вдруг замолчал, спрятав голову у меня на коленях и целуя мои руки.

Произошло это так, что я сразу привыкла к нему и мне не было стыдно, а только жаль его.

— Но почему вы называете меня Станкой?

— Потому что ты Станка... Милая, ведь я же узнал тебя. Разве это имя тебе не нравится?

— Нет, нравится. Но только там, где я живу, на одной могиле написано: «Sono stanca». Вы знаете, что это значит?

— На могиле, ты говоришь, на могиле... — повторял он в раздумье, и брови его озабоченно сжались.

— Разве ты умерла там?

О Боже! что он говорит!

— А что значит «Sono stanca», ты спрашиваешь?.. Это значит: «Я — Станка», но может иметь другое значение, потому что *stanca* значит «усталая» по-итальянски... А как же там написано: с большой буквы?

— Не помню...

— Ты не помнишь? Дай мне руки.

Он схватил мои руки и прижал их одну ко лбу, а другую ниже затылка, к шее. На лице его выразилось напряжение, и я заметила, что ресницы, во все время разговора изредка вздрагивавшие у него, теперь стали усиленно трепетать, глаза полузакрылись и лицо побледнело.

Сидя у моих ног, он в то же время тихо и нежно говорил:

— Ты теперь вспомнишь, Станка, да. Станочка, ты сейчас вспомнишь, не правда ли? Ты только немного подумай.

Я стала думать о мраморной плите с большим вырезанным крестом и мысленно восстанавливать начертание букв.

— Теперь я вижу, — говорил он глухим шепотом. — Вижу... Как тут красиво. Холмы, виноград, он такой темно-пурпуровый, и цветы: белые астры и петунии и что-то знакомое, знакомое, хочется не уходить оттуда.

Пока он это говорил, я чувствовала, как какая-то странная теплота уходит от моих рук к нему, а потом я совсем перестала чувствовать свои руки, они мне казались чужими,

— А вот и мраморная плита с крестом; написано «Sono stanca», теперь я вижу очень ясно: stanca маленькой буквой. Там за плитой, в холме, должен быть склеп. Дверь была когда-то с левой стороны под мостиком... Потом ее засыпали... Теперь она не видна... сейчас я увижу, что там внутри...

Я чувствовала, что слабею. Голова у меня кружилась.

— Пустите, — шепнула я и высвободила руки.

Он сидел некоторое время молча, опустив голову.

— Как вы можете читать мои мысли? Но ведь о склепе я ничего не знаю.

— Я не читаю твоих мыслей, Станка, я только, как бы тебе это объяснить... Я опираюсь на тебя, чтобы видеть. Ты мне помогаешь, а потому... Я очень утомил тебя, Станочка?

— Теперь, когда вы пустили мои руки, мне легче.

— Прости меня... Я всегда был виноват пред тобой.

— Я ведь простила вас...

— Почему ты говоришь мне «вы»? Разве ты больше не любишь меня, Станка?

Он поднял на меня свой странный, замороженный взгляд. Он редко смотрит прямо на меня и если смотрит, то долго: у него взгляд странный, точно приковывающийся к предметам, от которых ему трудно оторваться. Под этим взглядом я почувствовала, что должна сказать правду.

— Нет, я люблю вас с тех пор, как вы стояли надо мой

тогда в опере...

Я сознавала и только тогда поняла, что это была правда, и в то же время чувствовала, что краснею, и опустила глаза.

— В опере, ты говоришь? Что это такое, опера?

О Боже мой! С ужасом я взглянула в эти замороженные, странные глаза, и на лице его мне показались мучительное усилие и беспомощность ребенка. Тогда с отчаянием в душе я схватила эту бледную больную голову безумца и прижала к своей груди.

— Ты болен! — вскрикнула я.

— Нет, я здоров.

Должно быть, жар был у меня тогда, потому что страшно потрясая меня музыка «Пиковой дамы» опять стала звучать у меня в голове, образы путались, и ответ его показался мне словами Германа.

Несколько капель упали из моих глаз на его кудрявую голову.

Я почувствовала, что его руки обняли меня.

— Ты плачешь?.. Жалеешь?.. Благодарю тебя...

В тот миг, я не помню, говорил ли он эти слова, или это были звуки Чайковского.

Потом он говорил:

— Видишь, я не знаю, что это за слово «опера». Понимаешь, я мог бы вспомнить; но для меня это очень мучительно вспоминать... Я не хочу вспоминать, Станка, потому что это не я знаю, а другой знает... Я его не люблю, я хотел бы, чтобы он скорее умер...

— Кто умер? О ком ты говоришь? — вскрикнула я, чувствуя, что от ужаса и отчаяния за него я вся холодею и в то же время произношу слова Лизы.

— Ты понимаешь, я его не люблю, я только тебя люблю, Станка...

Вдруг он встал и, отступивши на шаг, со странной радостью воскликнул:

— Боже мой, какая же ты красивая, Станка, какая ты упоительно красивая!..

## VIII

Когда он выпустил меня из своих объятий, странное бредовое состояние у меня прошло, и его радость мгновенно заразила меня. Я вся покраснела от счастья при этих словах.

В оранжерейке со стеклянным потолком и стенами было тепло и казалось светлее, чем в саду.

— Какие у тебя волосы, Станка, Боже, какие красивые!.. Что это за цветы?

— Хризантемы...

Я уже привыкла, что он не понимает некоторых слов.

— Хризантемы, — сказал он, задумываясь, — хризантемы... Какое красивое слово. Их нужно приколоть к твоим волосам.

— Приколите...

Он взял две пышных палевых хризантемы и приколот их к моим волосам на затылке с левой стороны, так что они свешивались мне на плечо.

— Вот видишь, теперь твои волосы цветут хризантемами.

— Разве можно так сказать?

— Да, можно... Цветут хризантемами... Цветут хризантемами, — повторил он, задумываясь, и прибавил: — палевым склоном на плечи... вот я сейчас напишу тебе все, ты увидишь, как это красиво выходит.

Схватив мою тетрадку, он стал быстро писать.

Когда он заговорил о цветах, о моих волосах, я забыла о его безумии, так странно, так быстро забыла и обрадовалась, потому что мне показалось, что он говорит, как здоровый человек, и забыла вдруг, как это странно любить его, чужого, незнакомого даже по имени. Мне захотелось только одного: посмотреть в зеркало, как он приколот хризантемы к моим волосам и «какая я красивая».

Я оглянулась и, заметив в глубине оранжереи на стойке несколько запасных стекол, подошла к ним. Они были плотно сложены и потому отсвечивали, как зеркало. Хризан-

темы он приколот так хорошо, как я сама никогда не сумела бы. Некоторое время я смотрела на себя, и мне казалось, что я действительно красивая и в первый раз замечаю это.

Может быть, я довольно долго смотрела, не знаю, но потом почувствовала какое-то недомогание, точно туберозы слишком сильно пахли. Я распахнула окно: резкий неожиданный порыв ветра ворвался, обвеял всю стеклушку, и в тот же момент ударил колокол собора.

Не знаю, почему удар был такой сильный (правда, собор — возле самого сада). Я вздрогнула и на несколько мгновений замерла, точно опасность угрожала мне, потом обернулась и сразу почувствовала, что что-то случилось.

Он стоял с моей тетрадкой в руке, а другой рукой потирал лоб. Глаза его странно моргали и щурились, точно от сильного света. Потом он посмотрел на меня; я чуть не вскрикнула, потому что увидела, что взгляд его опять так изменился, как тогда в театре. Я поняла, что он не узнает меня. С удивлением взглянул он в тетрадку, потом на меня, потом положил ее на скамейку и смущенно пробормотал:

— Извините, пожалуйста...

Он оглянулся, точно искал чего-то, потом, как бы вспомнив, выбежал из стеклушки и быстро ушел по направлению к университету. Я слышала, как он бормотал, пробегая мимо окна:

— Да, ведь я забыл свою фуражку в шинельной...

Я застыла у окна, чувствуя, как какая-то ужасная пустота вместе с надвигавшимися сумерками ползет на меня, чувствуя, что я не в силах с ней бороться... Как он осторожно положил мою тетрадку на скамейку, с той особенной заботливостью, как кладут чужую вещь, совершенно нечаянно попавшую в руки!

Но ведь он написал там что-то...

Какая-то полупонадежда блеснула у меня. Я схватила тетрадку, но успело уже смеркнуться: прочесть нельзя было. На улице у фонаря я прочла:



Осень янтарными дышит поэмами:  
Сладко-разлучные речи...  
Волосы Станки цветут хризантемами  
Палевым склоном на плечи...  
Жадные галки проносят долинами  
Грозное слово «расплата!»  
Тополі держат сухими вершинами  
Алое знамя заката...  
Прошлое в сердце теснится свиданьями  
В ярко-недвижимых масках,  
Листья, мерцая, цветут увяданьями  
В палево-пурпурных красках...  
Осень янтарная дышит поэмами:  
Сладко-разлучные речи...  
Волосы Станки цветут хризантемами  
Палевым склоном на плечи...

Я бежала домой, потому что чувствовала, как горло у меня сжимается: чувствовала, что должна плакать, что от этих стихов мне стало вдруг очень, очень больно, потому что они красивые. Дома я долго плакала, потому что я люблю его. Я не спала всю ночь, потому что всю ночь перед мной стояло его лицо и не узнающие меня, ставшие вдруг чужими глаза. Как мог он вдруг, сразу забыть меня?..

Теперь у меня такое чувство, точно я не могу глубоко вздохнуть: мысли так быстро несутся, так толпятся и осаждают меня, что нет времени дышать. Я никак не могу справиться, не могу понять, а сказать некому. Почему он дважды встретился мне и два раза узнал меня или принял за кого-то?

Если он безумный, то почему называет меня — Станка, оба раза Станка, именно тем словом, которое там на могиле... Тем словом, что так часто бродило у меня в голове под музыку «Пиковой дамы», когда я встретила его. Зачем я не узнала его имени... Как это ужасно — не знать имени, как страшно любить безумного.

Он спросил меня, там ли я умерла.

Мне стало жутко тогда от этого вопроса: казалось, то-

лько безумный может так спросить. Но теперь мне порой кажется, что это так и было, что, может быть, я жила когда-то, и мы любили друг друга, а теперь он узнал меня. Неужели это возможно и это не сон, не сказка?..

Неужели, если мы уже связаны прошлым, если в громадном мире мы встретили друг друга, неужели я потеряю его?

Ведь это такая случайность, эта встреча, что может быть, бывает раз в тысячу лет, и разве другие могут так любить, как те, что уже любили когда-то, и разве они не заслужили права на счастье после долгой-долгой разлуки?..

Я не пошла в университет сегодня: после вчерашнего сразу я не могу, мне кажется, встретить его; я была уверена, что не встречу, а потому не пошла на лекции, но долго бродила по улицам. Уже смеркалось, когда я зашла в какую-то церковь. Только что отслужили панихиду, и люди расходились. Я молилась в одном темном уголке у лампадки, где никого не было. Там на ризе Божьей Матери был большой алмаз. Желтое пламя лампадки колебалось на нем, и он ярко отсвечивал разноцветными искрами. Я долго смотрела на него и какое-то неведомое состояние овладело мной.

Сперва как будто полусон, и глаза мои, кажется, полужакрылись. А тогда все вдруг поплыло. Алмаз куда-то уплывал и я за ним, и ничего больше я не видела, кроме алмаза. Потом как будто бы легкий пар стал отделяться от его граней, и вдруг в этом паре я увидела его лицо, как тогда в театре, когда у меня был обморок. И как тогда, я потянулась к нему, потому что это было дорогое, мое знакомое, давно не виданное лицо, и радость, что я вновь увидела его, начала заполнять меня так сильно, что, казалось, я не могу дышать и дышу все медленнее и все ближе приближаюсь к этому дорогому лицу, и туман становится все светлее, лицо уплывает, и я плыву за ним.

Потом что-то сильно стукнуло (кажется, сторож скамейкой), мне показалось, что я падаю, и все исчезло.

Я встала и взглянула на икону; мне почудилось, так ясно почудилось, что у нее глаза Анютки. Совсем глаза бедной девочки смотрели на меня, такие, как были у нее перед

смертью.

Анютка, ты теперь ведь все знаешь: скажи мне, так ли это, или это сказка, сон такой, от которого останется одно бесконечное мучение... Скажи мне, Анютка, разве ты не можешь ответить?..

Опять я упала пред иконой и плакала, и молилась, но никто не ответил мне. Только сторож ходил, тушил свечи; они жутко трещали, и все темнее становилось...

Я вышла на улицу. Что со мной было в церкви? Я не знаю, но чувствую, что чем-то связана с ним, чем-то большим, чем случайная встреча. Ведь в старину верили в это, и теперь в Индии разве целый народ не верит?..

Если бы я не узнала его, если бы не чувствовала, что он имеет право на меня, то разве я могла бы позволить ему вчера все то, что было?..

4 ноября.

Сегодня я так не рада была, что проснулась: что-то хорошее снилось ночью, а в окно сразу глянула отвратительная, серая осень. Моя комната выходит в сад. Туман в саду оседает на деревьях и с обнаженных ветвей медленно стекают капли. Кое-где почерневший лист еще держится и шатается на ветке. Какое счастье там, на юге, в той стране, где если и бывает туман, то теплый, голубой, как дымка, и должно быть, луч солнца скоро прокрадывается сквозь эту легкую дымку и упадет на зеркально гладкое море с легкой белой пеной по краям. Должно быть, только после смерти я попаду в эту страну, там, где Анютка. О, Боже мой, сколько раз с тех пор, как я уехала из дома, давала себе слово не писать и не думать об этой стране, потому что всегда я плачу и всегда особенно больно чувствую свое одиночество и свою беспомощность.

Неужели же богатые люди могут жить в этой холодной осени, ходить по этим грязным улицам, когда им так легко уйти отсюда?

А Эрик? был бы он со мной? Откуда у меня это имя? Буду так называть его, потому что тяжело, когда не знаешь имени, а это имя мне нравится. Все равно, что оно иностранное. А может быть, ему не понравится?

Почему я так пишу? Должно быть, я уверена, что увижу его. Ведь говорил же он: я только тебя люблю, Станка. Какое хорошее имя — Станка.

Вот уже два дня, как я хожу на лекции и ищу его. Надя Шатова сидит возле меня и что-то говорит мне, но я ее не слышу, и что говорят с кафедры, я тоже не слышу. Я все думаю и говорю с ним мысленно:

— Эрик, почему ты ушел? Ты разве не узнаешь меня? Я Станка, твоя Станка. Ты помнишь, мы жили с тобой когда-то? Помнишь? Ты приди в себя, ты ведь узнал меня. Разве теперь ты другим стал, Эрик, ты не думаешь, не вспоминаешь обо мне?

Ведь это ты писал: «Волосы Станки цветут хризантемами, палевым склоном на плечи».

Почему ты ушел, Эрик?

И тогда я слышу, как он грустно шепчет:

— Я не знаю, Станка, не знаю... Мне очень тяжело жить, потому что моя жизнь — это расплата.

Я долго-долго говорю и слушаю, как он все отвечает: «Я не знаю, Станка», а я все говорю и спрашиваю, и забываюсь совсем, пока резкий звонок при окончании лекции не заставляет меня очнуться.

## IX

7 ноября.

Случилось, что один из профессоров читал два часа. Поэтому во время перерыва многие остались в аудитории. Тогда я случайно подслушала разговор двух студентов.

— Что-то того психопата титулованного давно не видно

в университете.

— Недавно Володька видел.

— Где?

— На «Пиковой даме». Еще, брат ты мой, какой мастер ухаживать.

— Неужто? Это любопытно. А выглядит тихоней.

— Тихоня, а барышню сейчас на руки подхватил. На «Пиковой даме» одной дурно стало. Публика заволновалась вокруг. Откуда ни возьмись, наш психопат явился, на руки подхватил и давай тащить в уборную.

— Вот тип. Ха-ха-ха!

— В уборной, говорят, столбняк на него нашел сдуру...

— Вот чудак. Хорошенькая, небось... Ха-ха...

— Володька говорит, красавица. Если б он раньше подошел, то сам бы ее понес, а то только через щелку подглядывал. Титулованный стоит над ней в уборной, глаза выпучил... Володька смотрел, смотрел, не дождался, чем там кончилось, потому что действие началось...

— Еще, пожалуй, женится.

— У него уже есть невеста. Говорят, маменька женит, тоже смазливенькая блондиночка.

Боже мой, как это больно. Я гнала мысль о ней до сих пор и сама себе не смела признаться. Теперь я должна об этом думать. Эрик, разве ты не одну Станку любишь?

Я выбежала из аудитории и опять кое-как пробралась в сад. Я знала, что его там нет, но мне почему-то хотелось пойти в оранжерею. Там оказались люди. Куда идти? Весь сад в мокром тумане. Неужели он теперь с ней? Может быть... Нет, нет, это тот, другой, про которого он говорил, что не любит его.

«Я только тебя люблю, Станка...»

Такая тоска стиснула мне сердце, что я не могла идти домой. Там одинокая, скучная комната... Я ходила по улицам и долго искала ту церковь, где была давеча. Только случайно я нашла ее, потому что не знаю города. Это был субботний день. Служили вечерню. Было очень много народа, и вся церковь освещена. У той иконы оказались совсем другие глаза. Я долго стояла среди толпы. Хор пел что-то такое

красивое, какое я никогда не слыхала. Детские чистые голоса херувимов пели про «надежду и утешение». Долго, долго все тянулась одна нота такая светлая и высокая, как золотой крест на вершине купола. Голоса смятенные, скорбные, наставшие снизу, звучавшие глубокой мольбой, все толпились вокруг этой ноты, все тянулись к ней, высокой и чистой, как золотой крест на голубом небе; они зарождались издали, усиливались, приходили и уходили, точно длинная вереница богомольцев перед святыней. Иногда этих голосов было так много, точно вся толпа в церкви пела: тогда они морем скорби и мольбы заливали всю церковь и тянулись к куполу, и тогда она уносилась выше, эта светлая нота, словно хотела поднять скорби земные к самому небу, к недостижаемому небу, где страна надежды и утешения...

Мне становилось на душе тихо, сладко и холодно от какого-то волнения. Я забыла все, все. Только одна мольба захватила мою душу: «Анютка, Анютка, родная моя, возьми меня туда, в эту страну, куда ты ушла от нас, куда несутся эти звуки, где надежда и утешение...»

И пока хор пел, и набожно крестилась толпа, и горели яркие свечи, было тише на душе.

Потом я вышла на улицу и здесь, кажется, потому, что было темно, в голове моей вдруг страшно ярко всплыло то, что меня мучило. Вот он подает ей ротонду и что-то быстро говорит. Он смотрит на нее! Как он смотрит?

— Нет, нет, это не те слова, это не он, этот, другой, которого я не знаю, которого я никогда не любила и теперь не люблю. Правда, Анютка?..

Я отогнала эти мысли и вспомнила лампы и лики святых в ярко озаренной церкви и ясный, высокий, как золотой крест, голос херувимов, и через темные, грязные улицы несла его в душе.

Но чем ближе я подходила к дому, тем тусклее он становился. Вот сейчас темный наружный коридор и дверь прямо в мою комнату.

Когда я вошла, едва поднявшаяся луна освещала ее странным, медным, зловещим освещением. Мне стало жутко, я

зажгла свечу, присела на скамеечку возле кровати и заплакала. Почему я плачу? Разве я не хотела этого, разве не искала любви человека, который бы жил в том мире, потому что только там и возможно счастье. Разве счастье не требует красоты, напряжения всех струн души, разве не потому оно является минутами, когда звучат все самые красивые струны? Разве можно быть всегда желанной и красивой? Почему же теперь мне хочется быть всегда возле него, чтобы всякая мелочь была моя?

— Эрик, дай я приберу на твоём столе; я уйду от тебя, Эрик, только для того, чтобы рассказать тебе, что со мной будет за это время, только для того, чтобы скорее вернуться к тебе... Хоть бы я знала, что ты ещё придёшь, Эрик.

Потом мысли мои стали путаться. Опять у меня был жар, и опять музыка «Пиковой дамы» звучала во мне. После того вечера у меня часто жар, и всегда мелодии и образы «Пиковой дамы» неотразимо преследуют меня. Должно быть, я долго была в этом состоянии, потому что даже не заметила, как догорела свеча, и луна озаряла комнату яркими полосами света.

Я не помню, как сбросила своё платье и надела летний батистовый капот. Должно быть, мне было жарко.

Вот запела виолончель: «Я имени её не знаю», и вошёл Герман. Эрик, это он, как тебе хорошо в офицерском... Где я видела твоё платье и, кажется, твоё лицо? Я припоминаю: это у нас, в Мраморной комнате. Так это ты был, Эрик: я ведь тогда сразу почувствовала, что ты живой, но почему я не могла видеть твоего лица? Что мне мешало?

— Три карты, три карты, три карты...

Какие карты? Кто это говорит? Это ты, Анютка?

— Барышня, — шепчет Анютка, и мы с нею находимся в комнате Лизы, — барышня, сейчас придёт ваш суженый, титулованный, я побегу...

— Зачем ты так говоришь, Анютка! Не уходи...

— Нет, вам не разойтись без встречи, — шепчет Анютка, тушит свечу и убегает.

Что это? Я, кажется, очнулась, ведь это моя комната освещена луной. Нет, скрипки торопятся, он сейчас придёт.

Вот он. Он должен остановиться в дверях, потому что звук остановился и еще не отзвучал.

— Остановитесь, умоляю вас.

— Я не уйду, Эрик. Я не Лиза, я — Станка. Ты слышишь: оркестр волнуется, как море.

Дай умереть, тебя благословляя,  
А не кляня!  
Могу ли день прожить, когда чужая  
Ты для меня?..

— Как ты чудно поешь, Эрик. Ты не умрешь, мы уйдем на юг с тобой... Слышишь, море шумит? Что нам может помешать?

— Три карты, три карты, три карты!..

— Не бойся: это Анютка. Анютка, зачем ты его пугаешь? Анютка, где ты? Где ты, Анютка?

— Я здесь, барышня, в другом мире.

Боже, как хорошо! Анютка сидит над самой водой на небольшой светло-серой красивой скале, сверху ровной, как стол. Берег моря и белая пена. Кругом уступы гор и много-много света. По берегу моря дорожка уходит куда-то далеко. Наконец-то я здесь!..

Анютка гадает на картах.

— Анютка, где же Эрик?

— А вот сейчас я скажу, барышня, — отвечает Анютка, бросая карты.

— Тройка... семерка... туз! Вот он, барышня, глядите.

Я смотрю на дорожку. Вот он идет. Какой красивый в форме, как он торопится. Это потому, что скрипки торопятся. Я слышу его шаги...

Я очнулась, мой бред прошел, но я слышу шаги в коридоре. Дверь открывается. Он останавливается на пороге. Ведь я не грежу. Это он.

— Эрик!

Я боялась верить своей радости, но, поверив, бросилась и прижалась нему. Он подвел меня к окну на лунный свет и опять, как тогда, всматриваясь своими зачарованными



глазами, своим странным, приковывающимся, напряженным взором, несколько раз спросил:

— Это ты, Станка?

— Я, я, Эрик. Я ждала тебя все эти дни.

Его руки скользили по моему телу, точно он хотел убедиться, что не призрак перед ним.

— Милый, как ты нашел меня?

Я потянулась к нему и положила руки на его плечи.

— Мне снился сон, тяжелый сон, Станка:

Мне снилось, стоял я над самою кручей,  
Река мне казалась вся сталью,  
А сверху огромные туча над тучей  
Слоились свинцовой спиралью.

— Как ты красиво говоришь, Эрик. Ведь это стихи. Но почему ты такой бледный, измученный?..

Но он не отвечал мне, а продолжал медленно, не глядя на меня, точно разговаривая сам с собой и припоминая:

Был вечер осенний, как сказка, прекрасный,  
Янтарный кругом у кургана.  
И только закат, словно зарево, красный  
В лохмотьях был страшный, как рана...  
И галки летели... Летели с заката,  
И в дали, пока приближались  
На ране кровавой небесного ската,  
Казалось, как черви толкались...

Выражение напряженного отвращения было у него на лице.

И вот подлетели и стали вулканом,  
Как черные камни, взлетать над курганом,  
И черные круги сжимали все ближе,  
И, с криком взлетая, все падали ниже...

Он схватил меня за руку и с испугом оглянулся, точно видел еще стаю галок вокруг нас. Сердце у меня сжалось, потому что опять я слишком ясно почувствовала в нем что-то больное и жалкое. Он продолжал шепотом, точно хотел хорошо выяснить мне свои ощущения:

И было мне страшно... И взмахами палки  
Я стал отгонять их, но злобные галки  
Вступили со мной в безобразную битву...  
В смятенье хотел я припомнить молитву  
И крикнул: «Чего же вам надо?..»

Эрик нагнулся ко мне и, видимо, очень взволнованный, озирался и говорил быстро:

И тут-то всей тучей.  
Огромной и начерным кругом кипучей,  
Все бросились, сжали живые спирали.  
Удары посыпались сталью кривой...

Он с ужасом отчеканил это выражение.

И ярые, жадные птицы кричали:  
«Нам падали — крови гнилой!  
Мертвых готовим для мертвого мира.  
Бейте удар на удар,  
Сердце гнилое для нашего пира.  
Сердце нам, мертвый фигляр!»  
И сердце искали кривыми крючками!..

Эрик стоял посреди комнаты, в ужасе заломив руки и закрывая ими глаза.

Срывали одежду и били крылами,  
И когти сжимались, подобно пружине:  
«Нам падали, крови твоей!»  
И стаей, всей стаей тащили к стремнине,  
Чтоб свергнуть на груды камней!..

И в пытке хотел я разбиться на камне,  
И смерть преднеслась, как приманка...  
На память в тот миг, ты явилась одна мне  
И слово последнее — Станка!..  
Я крикнул, и смолкло: твой голос раздался;  
Завидя тебя у кургана,  
Все галки умчались, и только остался  
Закат, словно рваная рана...

При этом он подошел ко мне и смотрел на меня с изумленным и просветленным лицом, точно действительно я только что избавила его от смертельной опасности.

Ты шла с хризантемами тихой долиной,  
Змеистой тропинкой, янтарной лощиной...

Эрик поднял мое лицо за подбородок и, притягивая меня к себе, говорил, пристально и нежно всматриваясь в мои глаза своим странным взглядом:

И, руки сжимая и грея меня,  
Тревожно спросила, не ранен ли я?  
За что озлобились проклятые птицы?..

Он еще ближе притянул мое лицо, и, кажется, слезы появились на его грустных глазах.

И взор твой с вопросом под тишь ресницы,  
Весь полный янтарно-пурпурной поэмы,  
Лучом и росой сиял...  
За что?.. Я вдыхал лишь твои хризантемы.  
Уста мои были недвижны и немые,  
И я ничего не сказал...

Опять, как тогда, я стала чувствовать какую-то странную истому от его прикосновения или от того, что он смотрел на меня слишком пристально... Мне показалось, что я не в его глаза смотрю, а в какую-то блестящую точку, как в

алмаз на ризе Божьей Матери, и вдруг опять, как тогда, я в этой точке увидела его лицо, давно знакомое, дорогое и страстно потянулась к нему и тогда почувствовала его горячие губы на своих губах... Ощущение какой-то сладостной слабости, чего-то такого, что не может повториться, овладело мной от этого первого поцелуя.

Мне казалось, что я очнулась, точно от потери сознания, когда увидела себя на его коленях. Он сидел на моей маленькой подножной скамеечке.

Я вспомнила, что какая-то мысль о значении его странного сна мелькнула у меня, пока он говорил, и что хотелось спросить об этом.

— Эрик, какие страшные сны тебе снятся!

— Мне всегда снятся страшные сны, Станка, но только я редко помню их. И всегда ты приходишь ко мне и освобождаешь меня. Мне часто снится сон, Станка, точно я...

— Нет, молчи лучше, ты слишком волнуешься, когда говоришь.

— Нет, я скажу тебе... Мне снится, точно я прикован к скале где-то высоко в горах, и долгие ночи ползут надо мною. Я вспоминаю, что ты там одна, Станка, далеко внизу, где борьба и злые люди, где нет ничего хорошего, кроме волшебных снов. И страшно мне за тебя и грустно, что больше не увижу тебя, и больно, что уже больше ничем не могу помочь твоей жизни и только одно осталось, что еще могу отдать тебе свою мечту... Тогда напрягаю я мысль, чтобы навеять на тебя волшебные сны, чтобы хоть что-нибудь хорошее было у тебя, и вижу тогда, как ты спишь на мокрой от слез подушке, и вижу те сны, что создаю для тебя, а потом слабею от боли, и мысль тускнеет, и мука так захватывает меня, что обрывается сон, и знаю, что ты видишь меня у скалы и вижу, как в ужасе просыпаешься и плачешь. Страшная тоска охватывает меня, Станка, потому что ничем уже не могу помочь тебе. Так бывает несколько раз... А потом я слышу, как ты зовешь меня внизу в горах и не могу ответить тебе, и слышу, как ты поднимаешься и камни обрываются под тобой... О, Боже!..

Эрик в ужасе закрыл глаза рукой.

— Эрик, я ведь здесь, я, твоя Станка, очнись...

Я схватила его за руки.

— Посмотри, это сон, Эрик!..

— Да!.. ты здесь? ничто не угрожает тебе, Станка? — он смотрел на меня тревожным озабоченным взглядом.

— Нет, нет, Эрик... Я счастлива с тобой... Мне только холодно немного.

Тогда он поднял меня и, положив на постель, укрыл пледом. Потом, сидя на краю постели, всматривался своим тревожным взором. Я закрыла глаза и, почувствовав его голову на своей груди, крепко прижала ее к себе.

— Эрик, я счастлива с тобой... Эрик, ты молчишь? ты слушаешь мое сердце?

— Станка, — вдруг воскликнул он с отчаянием, — ты ничего не чувствуешь тут? — он указал рукой на мою грудь.

— Нет, ничего.

— Тебе не трудно дышать, Станка?

— Нет, мне легко с тобой...

Он наклонился ко мне совсем близко, и сердце у меня сжалось, когда я увидела, как слезы катились по его бледным щекам.

— Несчастливая ты, несчастная, — шептал он, и мне вдруг стало страшно.

— Эрик, о чем ты шепчешь? Я счастлива с тобой, нам хорошо теперь, — повторяла я, прижимаясь к нему. Мне хотелось скорей забыть слово «несчастливая».

— Я увезу тебя, Станка.

— Хорошо, Эрик, мы быстро уедем с тобой по железной дороге в далекую страну...

Тогда он неожиданно спросил меня:

— По железной дороге, ты говоришь? Разве дорога бывает железной?

И опять от этих слов ужас зашевелился у меня в сердце.

Я, усталая, упала на подушки и ничего не отвечала, мне хотелось только забыть про его безумие.

— Мы уедем с тобой на быстрой тройке, — шептал он, наклоняясь ко мне и всматриваясь своими зачарованными глазами — и странная истома овладела мной под этим взгля-

дом. Пусть он безумный, но только с ним я хочу жить.

— На быстрой тройке, — шептала я.

— Туда, где теплые волны и белый мрамор, где цветут апельсины...

— Где цветут апельсины... — слабее повторила я, и у меня хватило только силы, чтобы положить руки ему на плечи.

Его губы прижались к моим губам, и тогда горячие волны покатились по мне, точно доносясь из страны, где цветут апельсины...

И, безумно целуя меня, он повторил:

— Ты должна все забыть, Станка, забыть про несчастную жизнь, ты скоро уйдешь отсюда, ты скоро уйдешь, но придешь за мной...

— Я приду за тобой...

. . . . .

Вот все, что мне необходимо было привести из дневника Мары. Последние его страницы, которых ради краткости не привожу, показывают, что, очнувшись на заре, несчастная девушка не нашла возле себя того, кому отдалась в эту первую, затуманенную призраком счастья ночь. У Мары осталась, однако, надежда, что за этим вторым свиданием, оборванным так же неожиданно, как и первое, должно следовать третье. Даже случайно узнав про отъезд любимого безумца и глубоко потрясенная этим новым ударом, она мистически верит, что связь их не может быть порвана и, как в бреду, повторяет свои последние слова: «Я приду за тобой...»

В то же время получается письмо матери. Госпожа Багдасарова сообщает о полном упадке своих денежных дел и, ссылаясь на невозможность содержания дочери в городе, требует ее возвращения в Мраморное, где гораздо легче при ее содействии «замуж выйти». Сознывая себя совершенно чуждой и пораженная тривиальной грубостью матери, разбитая, не имея сил самой бороться за существование, Мара

перед отъездом в последний раз прибегает в церковь и падает на колени перед иконой Божьей Матери...

— Я приду за тобой, Эрик...

Это последние слова дневника.

## Х

Месяца через полтора после возвращения из Италии я узнал, что Мраморное продано госпожой Багдасаровой. Новыми владельцами я не интересовался, хотя слышал, между прочим, что они принадлежат к высшей земельной аристократии, владеют в разных местах громадными имениями, но ведут необычайно замкнутую жизнь; что семья состоит из трех лиц: старой графини и сына ее с женой, делами же их заведует изредка приезжающий брат графини; что в усадьбе возводится много построек, содержится много прислуги и великолепные выезды.

В середине апреля перед вечером один из этих выездов остановился у моего крыльца. С козел, где сидели двое, соскочил слуга очень почтенного вида, одетый по-городски в ливрею, и через минуту служанка передала мне конверт с графской короной. На визитной карточке графини Елены Николаевны Зарнич-Братиловой было приглашение приехать, если возможно, немедленно.

Я вызвал слугу и спросил, кто и чем приблизительно болен. Заметив некоторое колебание на его лице, я добавил, что спрашиваю, чтобы запастись кое-чем в случае надобности.

— Опасно никто не болен, слава Богу. Только граф Виктор Александрович немного беспокоен духом. Матушка их, графиня Софья Андреевна, изволили уехать в столицу, а супруга их, графиня Елена Николаевна, обеспокоились здоровьем графа, а потому просят вашу милость пожаловать.

После этого несколько неожиданного объяснения, я поехал. Солнце уже почти заходило, когда быстрая графская

пара подкатила к усадьбе. Здесь сразу бросалась в глаза царившая в парке чистота и свежий ремонт построек. Было много рабочих, копали и строили; одна из старых оранжерей была уже реставрирована и оттуда на носилках выносили только что расцветшие гиацинты.

В гостиной, богато обставленной, молодая графиня, милостивая блондинка лет 20, встретила меня немного смущенно.

— Мама (как она по старому обычаю называла свекровь) сама вам расскажет про болезнь моего мужа. Она должна с минуты на минуту приехать... Мама ездила в столицу узнать, кого из врачей лучше всего вызвать, а пока... — она с беспокойством взглянула на двери. — Если он придет, то, пожалуйста, скажите, что я для себя вас вызвала. Я ему говорила, что у меня бронхит...

— Нездоровье вашего супруга обострилось сегодня? Вы просили спешно приехать...

— Да, он стал очень мрачным; это у него всегда перед припадками. Иногда они кончаются обмороками, а потому я боялась. Впрочем, это очень сложно, я не сумею вам рассказать, мама...

Молодая женщина замолкла, и в комнату вошел граф.

Это был молодой человек, лет 25, шатен, среднего роста, хорошо, но несколько хрупко сложенный, с бледным лицом, тонкими и очень красивыми чертами. Первое, что мне бросилось в глаза, это нервно сжатые брови над серыми глазами графа и выражение рассеянной озабоченности. Казалось, что у него много дел, болезненно утомляющих, и вместе с тем, слегка выующиеся волосы придавали ему юный вид. Он вошел с какими-то чертежами в руках, не замечая нас, подошел к окну и стал пристально их рассматривать

— Виктор, к нам доктор приехал, — сказала графиня.

— А... да! очень хорошо, — отвечал граф, не оборачиваясь.

— Виктор, познакомься, пожалуйста, — робко продолжала графиня.

Граф обернулся и рассеянно скользнул по нам взглядом, потом, спохватившись, быстро подошел ко мне.



— Ах, да... очень приятно. Как вы нашли мою жену? — спросил он, озабоченно глядя куда-то в сторону.

— Я еще не успел выслушать графиню.

— Да... да... это необходимо, — рассеянно протянул граф.

— Доктор только что приехал, — поспешила вставить молодая женщина.

— Да... да... это необходимо. Ты больна, Леночка? — спросил он, подойдя к жене и, слегка скользнув по ее волосам, опустил ей руку на плечо.

Я заметил, что молодая женщина при этом вся вспыхнула, как мне казалось, от неожиданного удовольствия более, чем из стеснения моим присутствием. Граф же, стоя возле жены, по-видимому, уже забыл заданный вопрос, а рука его медленно соскользнула с ее плеча.

— Болезнь, кажется, неопасная, — вставил я для того, чтобы что-нибудь сказать.

— Ах, да... Вы говорите про болезнь, — вдруг спешно сказал граф и, неожиданно подняв взор, посмотрел мне прямо в глаза. Взгляд его был пристальный, но я чувствовал, что он, в сущности, не видит меня. Через мгновение он с той же пристальностью скользнул в сторону.

— Я, может быть, стесняю тебя? — обратился он к жене. — Пусть доктор выслушает...

— Нет, потом, когда мама приедет... она тоже хотела видеть доктора, — заторопилась молодая женщина и затем после некоторой паузы спросила:

— Вы давно здесь живете, доктор?

Я отвечал, упомянув о своем посещении усадьбы ради барышни, которая умерла.

— Я слышал, что могила ее здесь?

— Могила! — вдруг заторопился граф. — Да-да, вы хотите ее увидеть?.. сейчас я вас отведу...

— Виктор, сейчас мама приедет, — с видимым волнением поспешила вставить графиня, — лучше мы тогда вместе с доктором погуляем.

— Да, здесь очень живописные места, — сказал я, чувствуя, что задел что-то нежелательное.

— Да... вы уже гуляли здесь? — смущенно теребя веер в

руках, спросила графиня.

— Я был в саду, видел холмы и мостики, слышал о Мраморной комнате, но в ней не был.

Это был второй промах.

— Мраморная комната, — это великолепная вещь, — с неожиданной убежденностью заявил граф, — не правда ли, Леночка?

— Да, конечно, — поспешила ответить графиня.

— Вы, наверное, будете того же мнения, доктор. Сейчас я вам все это покажу, если позволите... — При этих словах граф быстрым, неожиданным движением взял меня под руку...

— Виктор, доктору, может быть, не так интересно... — графиня с тоской взглянула на меня.

Видя, что посещение Мраморной комнаты также нежелательно, я пробормотал что-то в тон графине. Но граф уже не слушал и, увлекая меня, восторженно и с беспокойной нервностью говорил:

— Это сооружение великолепно, вложена бездна остроумия и изобретательности. Сейчас я вам все продемонстрирую.

Мы вместе с графиней отправились в мраморную спальню. Так как последующие события связаны, главным образом, с этой комнатой, то мне приходится немного остановиться на ней внимание читателя.

Гостиная, где мы сидели, и смежная с ней столовая имели каждая по выходу в одну наружную боковую сторону дома, от которой шли в виде рукавов два коридора, вернее, две крытых галерейки из больших зеркальных стекол между широкими мраморными плитами. Снаружи эти плиты были еще богато разукрашены резьбой и мраморными же карнизами. Ко времени этого рассказа из наружных плит уцелели немногие, остальные были заменены каменными, набело штукатуренными. Обе галерейки выходили дверьми в такую же галерейку, четырьмя сторонами обхватившую стены Мраморной комнаты, которой и замыкалось все здание. Между двумя рукавами под открытым небом разведен был небольшой цветник и виднелись остатки мрамор-

морной скамейки и такой же фонтан.

Мы прошли одним из стеклянных коридоров.

— Когда-то крыши комнаты и галерей были стеклянные. Только мрамор и толстое зеркальное стекло. Позже пришлось заменить стеклянную крышу железной. Но при первой возможности я постараюсь все восстановить в прежнем виде.

Прежде, чем войти в спальню, граф предложил обойти комнату по галереям. Здесь он с нервной поспешностью объяснял, как были устроены два камина по углам спальни и в то же время над нею не было ни одной трубы. Дымоходы шли под стеклянным потолком коридоров к главному зданию и были великолепно маскированы акантовыми листьями мраморных карнизов.

Во время этих объяснений меня удручал несчастный вид графини, а странный, нервный и какой-то спешный тон больного (ибо таковым я не мог теперь не признать графа) заражал меня смутной тревогой. Особенно поразило меня несоответствие между сжатыми бровями графа, лицом, не обнаруживавшим и тени оживления, и восторженно-спешной речью.

— Бездна остроумия и изобретательности, — твердил молодой человек. — Посмотрите, с боковой стороны вся эта сторона — сплошное стекло дверей и окон. Масса света, стеклянные двери в коридор, а отсюда вон сюда, на эту открытую веранду. Когда-то она была также мраморной... Вы видите эти мраморные карнизы на продольных стенах, а под ними маленькие окна? К этим окнам свешивались с карнизов цветы. Разве не остроумно было повесить эти лампы таким образом, что вечером вся комната была полна тенями цветов и листьев?.. Смотрите теперь здесь, на эти окошечки. Видите урны под потолком, от них трубочки с желобками и, наконец, стерженек пред каждым окошком? Как нужно любить красоту, чтобы изобрести все это! Вы, конечно, догадываетесь, что вода, просачиваясь из этих урн, стекает по желобкам, и каждая искристая капля пред падением висит на этом стерженьке; конец стерженька находится как раз в фокусе этой чечевицы, за которой устроена

лампада. Теперь пойдёмте, я покажу вам, как все это отражается в зеркалах мраморных каминов...

Граф не пошел, а скорее побежал вперед, огибая угол комнаты. За ним рванулась графиня с возгласом:

— Виктор, не надо...

Я поспешил за ними и застал обоих перед дверьми Мраморной комнаты.

Графиня держала мужа за руку и, когда я подошел, то увидел слезы на ее глазах.

Казалось, не замечая их, граф сказал мне, как будто разговаривая сам с собой, в задумчивости;

— Жена не любит эту комнату, не странно ли?

С этими словами он толкнул дверь и мы вошли в мраморную спальню. Действительно, она вся была из чередующихся углубленных и выдающихся плит. Первое, что бросилось мне в глаза — это широкая, из мрамора кровать. Она стояла изголовьем к стене посреди комнаты. В этом месте мраморная плита стены была шире прочих и окошечек на ней не было.

Как раз в это время туча освободила заходящее солнце, стало светлее, и я заметил на мраморной плите золотые буквы.

Граф уже забыл свои объяснения и, не говоря ни слова, опустился в кресло.

Затем произошла такая сцена.

— Вот чудные стихи, доктор, — в задумчивости сказал граф, обращаясь ко мне и не глядя на графиню, у которой было несомненное выражение какого-то почти ужаса на лице, причина которого была мне неизвестна.

Графиня стояла в дверях, а граф читал, медленно и красиво декламируя:

Ты из мраморных гор высек горницу мне,  
Из осколков горячего юга;  
Но затмила простор в этой темной стране  
Над горюющим мрамором вьюга.  
Ты сложил мне постель всю из мраморных плит,  
Из точеного пенами строя...

Я слыхала во сне, точно мрамор звенит  
Закипающей песнью прибоя.  
И мой сон улетал к колыбельным волнам  
И ласкался в их зное певучем...  
Ах, зачем, дорогой, умерла я не там,  
Засыпая на мраморе жгучем.  
Ты ласкал бы меня в эту ночь до утра,  
Хоронили б с зарей под волнами,  
И была бы я, милый, русалок сестра  
И плыла бы к тебе вечерами.  
Ах, зачем так тяжел весь из мрамора гроб!..  
Умерла я под стоны метели,  
И все глуше дрожал, нарастая, сугроб  
И суровые сосны скрипели...

Пока граф читал, лицо его бледнело, глаза полузакрылись и веки странно дрожали. Дальше нельзя было ничего прочесть, оставались только следы стертого золота, однако ясно было, что когда-то на мраморе были нанесены еще два куплета. Несколько отдельных букв сохранились от каждой строки. На одной из них ярко играл луч заката. Граф несколько секунд, по-видимому, неподвижно смотрел именно в эту сверкающую золотую точку. Графиня сделала несколько шагов и замерла в ожидании.

Граф, совершенно недвижимый, произнес:

— Вот, сейчас... сейчас... — голос его звучал глухо и прерывисто. — Сейчас все прояснится... я уже вижу...

Графиня схватила меня за руку, с отчаянием указывая на больного.

Вслед за тем граф медленно, как бы разбирая неразборчивую рукопись, произнес:

Но в могилу мою... веют... прежние сны...  
Я приду за тобой...

— Я приду за тобой... — повторил он с мучительным усилием. — Скажи мне, скажи, ты здесь, ты должна...

— Доктор, доктор, что это?.. кого он видит?.. — шептала

с отчаянием графиня.

— Где ты?.. где ты?.. — прошептал граф и замолк.

Графиня в ужасе заглядывала в неподвижные, но с дрожащими ресницами глаза графа.

— Виктор, очнись, здесь нет никого...

Она несколько раз взмахнула веером перед глазами мужа, сиюсь отогнать невидимый призрак.

Граф вздрогнул, усиленно заморгал, прищуриваясь, как будто от сильного света, и, не глядя на меня, казалось, не замечая державшей его руку графини, усталой походкой вышел из комнаты.

## XI

Я остался один и хорошо помню, что предстоявшая роль врача немало смущала меня.

Чем был болен граф? Мне казалось, что он подвержен каким-то припадкам сродни сомнамбулизму, ясновидению и тому подобным, в то время для меня очень смутным вещам. Помню, что некоторые сведения о гипнотизме я получил в университете. Профессор говорил о школах Шарко и Нанси и еще какой-то, о которой отзывался пренебрежительно. Кажется, она называлась флюидической. Потом говорилось еще о контрактурах, о влиянии магнита, об общих и местных анестезиях, о трех фазах, о гипногенных зонах и тому подобном.

Однако, как применить такого рода познания к болезни графа? Что общего между контрактурами, зонами и его бредовыми галлюцинациями? И как тут быть врачу?

Теперь, изучивши множество старых и некоторые новые книги, познакомившись с Дюпрелем, Роша, Deleuze'ом и многими другими, я знаю, что все то, о чем говорил профессор, составляет лишь одну скорлупу глубочайших тайн трансцендентальных состояний духа.

Но тогда! Тогда профессор, познакомив нас с тем, что «точно установлено современной наукой», хорошо помню,

закончил так:

«Невежественная толпа обыкновенно связывает с явлениями гипнотизма разного рода чудеса вроде двойников, астральных фигур, зрения на расстоянии, угадывания будущего и тому подобного. Словом, публике мерещатся уже чудеса магов и средневековые туманы мистицизма.

К крайнему своему сожалению, и должен сказать, что и некоторые ученые скомпрометировали себя такого же рода увлечениями. Быть может, иные из вас окажутся на этом иногда опасном и всегда бесплодном пути. Мой долг указать вам, что принадлежит храму науки и что — пестрой сутолоке базарных балаганов. Я, во всяком случае, отказываюсь быть руководителем в стране чудес и скоморошества и напому вам слова знаменитого Вундта, говорившего, что неверующему в чертовщину нет надобности и экспериментировать над нею».

Конечно, этот хлесткий финал был покрыт аплодисментами.

Отрывок университетской жизни живо представился мне, когда я стоял на веранде Мраморной комнаты. Со стороны реки отсюда на горизонте виден был край заходящего солнца, прямо предо мною темнел парк, от клумб возле дома сильно пахло гиацинтами в вазонах. В задумчивости я сделал несколько шагов и очутился возле знакомой аллеи холмов и мостиков с внешней ее стороны.

Первое, что бросилось мне в глаза, — это был деревянный крест. В легких сумерках на фоне оранжевого зари заката он казался черным и большим.

Новая могила повеяла на меня грустью. Я сразу догадался, чья она. Вот и две сосны, значит, рядом со старой, возле холма с надписью «*Sono stanca*». Вот и холм, где мы с ней беседовали в то чудное весеннее утро. Я подошел ближе и тут только заметил следы свежих работ возле могилы и прочел надпись: «Марья Борисовна Багдасарова». На траве лежал красиво обточенный мраморный крест, тут же была еще не установленная мраморная из красивой резбы ограда, а на самой могиле было много свежих цветов, из которых сильно пахли гиацинты и нарциссы. Кто забо-

тится о ней? Кто выписывает кресты, ограды, кому дорога могила Мары, ушедшей «в ослепительно дальние страны?..»

Погруженный в размышления, я не слышал шагов.

— Их сиятельства просят вас пожаловать к ужину.

Я последовал за безукоризненно выбритым и одетым слугой с лицом актера. Сколько перемен в Мраморном поместье!

В столовой, богато уставленной, меня встретила только что приехавшая мать графа, представительная женщина со следами бывшей красоты и печатью многих страданий на чисто аристократическом лице.

Несмотря на отразившуюся в ее глазах тревогу по поводу нового припадка сына, графиня, прекрасно владея собой, приняла меня с любезной простотой и достоинством старых светских женщин, отличительной чертой которых можно считать полную естественность тона, отсутствие принужденности и усилия. Я рассчитывал сразу заговорить о болезни графа, но присутствие слуг помешало моему намерению, графиня же настойчиво просила меня сперва поужинать и, если возможно, остаться ночевать. Интерес к происходившему, так же, как и обаятельность старой дамы, побудили меня сразу согласиться.

За ужином никого, кроме старой графини и слуг, не было. В разговоре, касавшемся условий моей земской службы, окрестных жителей и прочего, я вскользь упомянул о своем прошлогоднем посещении усадьбы Багдасаровых и спросил графиню, при каких обстоятельствах случилось ей приобрести поместье. Графиня, услав слуг, отвечала:

— При довольно исключительных обстоятельствах и, кажется, на горе своей семье. Нужно вам сказать, что сын мой Виктор, с которым вы сегодня познакомились, у меня единственный. Вы видели, каким странным припадкам он подвержен. Одна из его странностей — это периодическая страсть к путешествиям, и притом самым необыкновенным. Как ни тяжело мне, старухе, подчас бывает удовлетворять его желания, но отказать ему я ни в чем не могу. На него находит тоска, он плачет, как ребенок, и требует поез-



док. Тогда мы запрягаем специально для этой цели приспособленное ландо, берем слуг и едем Бог весть куда. И где только не приходится побывать! Его интересует всякая старина, хотя музеев, галерей и заграничных путешествий он не выносит. По сельским дорогам, иногда в самую ужасную погоду, мы путешествуем, пока не наткнемся на уездный городок со старыми замками, валами, башнями, на какое-нибудь старое кладбище, часовенку, крест на распутье, большей частью в живописных и мрачных местах. Я не суеверна, но порой мне бывает жутко. Иногда ему захочется осмотреть старую помещичью усадьбу, и вы легко можете себе представить, в какое неловкое положение подчас попадаешь. Род наш старинный, состояние огромное, нас все знают. При таких условиях нелегко путешествовать цыганским табором.

Графиня тяжело вздохнула, и на ее лице можно было прочесть накопленное годами страдание.

— Вот таким-то образом прошлой осенью подъехали мы к этим местам. Впрочем, я забыла вам сказать самое важное: Виктор часто бредит, как вот сегодня. Вы можете себе представить, что я переживаю тогда. Самая опасная болезнь все-таки не так тревожит, как этот бред, потому что в нем есть что-то страшное, что-то систематическое... Быть может, вы, как врач, с трудом поверите, если я скажу, что часто этот бред сбывается в действительности.

Графиня с грустной покорностью произнесла эти последние слова.

— Так было и на этот раз. Сидели мы в карете втроем с ним и женой его (она мне племянницей приходится), переезжали лесной дорогой через какую-то длинную плотину. Я вижу, он бледнеет, веки дрожат, тянется ко мне и говорит:

— «Мамочка, волам тяжело».

— «Каким волам?»

— «Их много, — говорит, — кажется, пятьдесят пар... Какой я тяжелый... мраморный, огромная глыба мраморная. Боже мой, как тяжело, да так нужно было, она просила...»

Про кого он говорил, не знаю. Так до самой усадьбы бре-

дил он и верите ли, описал все то, что мы здесь нашли: Мраморную комнату, холмы, мостики.

— Неужели это возможно? — вырвалось у меня.

— Да, это так, — грустно кивнула графиня. — Это ясно-видение, и если бы вы могли понять, что значит быть матерью ясновидца... Это какой-то нескончаемый ужас... Когда мы приехали, с ним случился странный припадок ненависти к госпоже Багдасаровой, которую вы знаете. Виктор очень мягкий по природе, это с ним было в первый раз: он чуть не убил эту женщину, называл ее палачом-убийцей и еще Бог ведает чем. Правда, владелица усадьбы и на меня произвела несимпатичное впечатление; Виктора мне едва удалось увести. Если бы не алчность старухи, то не знаю, удалось ли бы нам переночевать. В ту же ночь я, по настоянию Виктора, купила усадьбу за очень значительную цену, под условием — госпоже Багдасаровой с раннего утра ехать со всеми документами и моим письмом к моему брату и совершить там купчую. Сегодня я вернулась из столицы, а его оставила на попечении брата, утром он уехал. Пригласила знаменитых врачей, невропатолога и терапевта. Оба приедут на днях, по, откровенно говоря, хоть вам и не следовало бы говорить этого, я не надеюсь на врачей. Нам необходим, конечно, врач поблизости и мы будем на вас рассчитывать, но это только для временной помощи, а в остальном... мое материнское сердце, кажется, не обманывается...

— Не будем отчаиваться, графиня. Такого рода болезни, являясь по неизвестным причинам, иногда так же внезапно исчезают...

Я, признаюсь, не мог сказать ничего более и потому очень обрадовался приходу молодой графини.

— Мама, Виктор хочет во что бы то ни стало ночевать в Мраморной комнате. Может быть, мы спросим доктора? — обратилась она ко мне.

Графиня отвечала за меня.

— Доктор, конечно, найдет это нежелательным, но ты ведь знаешь, милочка, что с ним нельзя справиться.

— Я, во всяком случае, не считаю возможным оставлять больного на ночь одного.

Молодая женщина, мне показалось, покраснела при этих словах; старая графиня, привлекая ее к себе, провела рукой по ее щеке.

— Иди, милочка, к нему, мы с доктором сейчас придем.

— Сын мой всегда спит один, — продолжала она, обращаясь ко мне, когда дверь за невесткой закрылась. — Впоследствии я кое-что еще объясню вам по этому поводу.

— Нельзя ли, по крайней мере, поместить одного из преданных вам слуг по соседству, в коридоре у дверей?

— Ничего другого, конечно, и не придется сделать.

Я попросил разрешения осмотреть комнату и еще раз повидаться с больным, на что графиня охотно согласилась. Мною овладевала стая мыслей и новых ощущений. Целое крушение старого мировоззрения происходило во мне под влиянием виденного и рассказа графини.

Не одно ли лицо Виктор и Эрик? Неужели возможны такие совпадения?

Мы застали графа в коридоре, окружавшем Мраморную комнату. С помощью жены и двух слуг, он занят был укреплением лампад, едва державшихся на поржавелых цепях. Приходилось помещать их таким образом, чтобы стекавшие из урн капли попадали в фокус чечевиц. Когда это было достигнуто, он стал комбинировать свешивавшиеся листья растений, добываясь красивых сочетаний их теней на стенах мраморной комнаты. Накопление капель давало странные колеблющиеся разводы света и полутеней среди черных листьев. Пламя лампы колебалось и тогда все эти узоры причудливо двигались на мраморных стенах под легкий звон падавших капель.

Я наблюдал за графом, который, казалось, совершенно не замечал моего присутствия, но после нескольких моих замечаний заговорил с той же нервной спешностью об интересовавшем его предмете, от времени до времени целуя руки матери. Я тогда же заметил (и впоследствии имел возможность проверить свое впечатление), что граф даже вне припадков рознился от нормальных людей отсутствием сознания окружавшей его обстановки или, вернее, своего отношения и места среди присутствовавших.

Непрерывно топившиеся камины хорошо обогревали помещение, а потому у меня не было никакого предлога протестовать против ночевки в Мраморной комнате с ее причудливой обстановкой, хотя это и не казалось мне желательным.

Прощаясь с графиней и вспомнив о свежих работах на могиле Мары, я спросил, кто заботится о ней.

— Это тоже одна из странностей моего сына: он сразу нашел ее, как только мы приехали сюда, точно знал, где она находится... Нам с трудом удалось оторвать его от нее и теперь он часто там сидит и все работы делаются по его настоянию. Покойной ночи, доктор, не хочу утомлять вас более сегодня. Еще многое придется рассказать.

— Если понадобится, графиня, я во всякий час ночи к вашим услугам.

— Будем надеяться, что нет...

С этими словами мы расстались.

## XII

Слуга отвел меня в предназначенное помещение, где на уютном столе посреди комнаты горела лампа с темным абажуром какого-то старинного фасона. Он был значительно выше стекла.

Я чувствовал себя утомленным. Для того, чтобы закурить, чего мне давно мучительно хотелось, я приподнял абажур и тогда свет ярко озарил мраморную доску на стене и тлевшие старым золотом буквы. После всего виденного, я не был поражен, но стихотворение на доске показалось мне интересным и я записал его.

### Ворон

Там, где над темными днями  
Есть крест золотой,

Высоко над немymi крылами  
Умирающей грезy людской,  
Мудрецам и векам непокорный,  
Там сидит ворон черный...  
Над хладеющим пеплом заката,  
Над крестами огромных могил  
За пределы небесного ската  
Он вещие очи вперил.  
И видеть страну упований,  
И в черную ночь не упасть,  
И слышать напев без рыданий  
Дана ему тайная власть.  
Из края, где слезы незримы.  
Что жгут на могилах венки,  
Крылами звенят серафимы  
И тихо плывут лепестки...  
Над грешной землей, над печальной  
Сияет их трепетный лет...  
Невеста в фате погребальной  
Из черного гроба встает.  
Восставший от долгого плена,  
Пред ней лучезарный жених  
И волны, и жемчуг, и пена  
Обетного края для них...  
Им страшные слезы незримы,  
Что жгут на могилах венки,  
Им песни поют серафимы.  
Им счастье несут лепестки...  
Мудрецам и векам непокорный,  
Видит их ворон черный...

С этим стихотворением на меня снова хлынули потоки мыслей, в которых трудно было разобраться. Чувствуя, что не засну, я долго сидел, выкуривая одну папиросу за другой и предаваясь размышлениям. Имею ли я основание думать, что Виктор и Эрик одно лицо, или же это представление субъективное, вызванное сходством их болезней? Оба, по-видимому, жертвы идеи перевоплощения, принимаю-

щей в их мозгу маниакальную силу и значение. А ясновидение? Невозможно отрицать его, читая дневник Мары и слушая рассказы графини. Что оба говорят об аллее холмов и мостиков, это объясняется в одном случае ясновидением, вызванным приближением к усадьбе, в другом почерпанием представлений из сознания нервной девушки. Впрочем, разгадка ведь недалеко. Можно будет узнать, был ли граф в К-ом университете и когда именно. Однако, после разрешения этого вопроса разве все происходящее не останется загадочным, странным?.. Таковы были мои последние мысли.

На следующий день я по привычке встал рано, однако застал старую графиню уже за чаем. Молодые люди еще спали.

Я поделился с графиней впечатлением от стихотворения, но что-то удержало меня от всякого упоминания о Маре и ее дневнике.

— Тут много стихотворений по стенам комнат на мраморных досках, — отвечала графиня, — но все они какие-то грустные и все об одном. Виктор каждое знает наизусть, едва прочитав, точно он уже все это видал. Иногда мне кажется это невозможным и вам, может быть, покажется странным, если я скажу, что получаю впечатление, точно Виктор когда-то жил в этой усадьбе.

Как ни странно прозвучало заявление этой несомненно умной женщины, я не мог не признать его естественным при данных обстоятельствах.

— Трудно решать эти вопросы объективными данными, графиня. Это дело внутреннего убеждения, быть может, иногда настроения.

— Конечно, я это понимаю и никому не решилась бы навязывать свои убеждения. Я не знаю, почувствуете ли вы впоследствии ту таинственную атмосферу, которая, кажется, висит над этой усадьбой и в этих комнатах. Но я ее чувствую, хотя и скрываю от Леночки и стараюсь разубедить ее, когда она передает мне свои впечатления. Ей, например, чудятся по ночам звуки какого-то инструмента...

— Вы совершенно правы, графиня. Несомненно, и харак-

тер болезни вашего сына, и обстановка способны действовать на нервы, но нам с вами необходимо сохранить равновесие в этой таинственной атмосфере, как вы сказали.

— По мере возможности я и сдерживаю себя, но должна сказать, что не люблю этой старины. Виктор ни за что не хочет покидать здешних мест, хотя среди наших имений найдутся усадьбы, не уступающие Мраморному по живописности.

— Графа, однако, привлекает обстановка.

— К сожалению, да... А я чувствую к ней полное отвращение. Эти могилы перед холмом, грустные стихотворения на мраморных досках, точно эпитафии, все эти остатки былого...

Графиня запнулась, не желая окончить своей мысли.

— Назовите это суеверием, если хотите, — продолжала она, — но у меня представление, точно здесь когда-то разыгралась какая-то драма, и теперь все еще живут чьи-то страсти, чья-то еще не завершенная трагедия, и все эти силы способны влиять на нас, и мне кажется, мой сын будет их последней жертвой...

Я возражал. Наш разговор был прерван слугой, доложившим, что за мной прислали из больницы. Графиня распорядилась заложить для меня лошадей и при прощании сделала мне в очень деликатной форме лестное и выгодное предложение переехать на жительство в Мраморное поместье, в то же время не оставляя своей обычной практики.

Пока закладывали лошадей, мы обсудили некоторые частности этого плана. Графиня предоставила в полное мое распоряжение лошадей для всех разъездов, кроме того, назначила постоянного верхового при больнице для вызывания меня в случае надобности.

На этих условиях я уступил часть богатого вознаграждения графини Каганскому и поручил ему заведование лечебницей в мое отсутствие, чем очень порадовал старика.

Таким образом, с внешней стороны все устраивалось к лучшему.

С каждым днем я узнавал все новые подробности из жизни больного.

При поместье находилось человек десять каменотесов и много других рабочих. В большом количестве выписан был мрамор и производились работы по реставрированию мостов, веранды, оранжерей и некоторых других построек. Нечего и говорить, что все это делалось по желанию графа. Молодой человек лично руководил всеми работами, причем обнаруживал большую сметливость и даже познания в строительной технике.

От графини я узнал, что у графа имеются в изобилии справочники, в которых он постоянно разыскивает нужные ему сведения.

Во все время кипучей деятельности с лица его не сходили выражение мрачной озабоченности.

На мои вопросы он отвечал нервно и спешно в том случае, если они касались интересующего его дела, невпопад и односложно на все остальное. Чаще всего граф вовсе не отвечал и, кажется, не слышал вопросов. Я наблюдал у него какие-то загадочные приемы работы. Он желал реставрировать здания, от которых не осталось никаких следов, по крайней мере, на земле, но граф находил их под землей, пользуясь для этой цели каким-то ореховым прутиком с разветвленным, вилкообразным концом.

Однажды я спросил его, почему именно данное место он отвел под оранжерею. Постройка еще не была начата, но граф уже отметил собственноручно четырьмя столбиками углы будущего здания.

— Но ведь она была здесь... — с убеждением отвечал он.

— Почему вы так думаете? Ведь не сохранилось никаких следов.

Вместо ответа граф взял прут за один из раздвоенных концов и, отошедши шагов на пятьдесят от линии будущей стены, стал приближаться к ней, держа прут ординарным концом вверх, вертикально в одной руке. С напряженным выражением на побледневшем лице, глядя куда-то вдаль неподвижным взором, граф медленно приближался. Едва он успел достигнуть линии будущей стены, отмеченной двумя столбиками, как прут с такой силой описал полукруг, обращаясь верхним заостренным концом к земле, что ко-



нец этот вонзился в землю, и вся вилка выскользнула из руки графа.

Я стоял в изумлении пред этим феноменом, произведенным, как мне казалось, посторонней силой.

Граф подозвал рабочих и велел копать. На глубине не более полуаршина они наткнулись на остатки каменного фундамента. Впоследствии оказалось, что он всюду соответствовал линиям, намеченным графом.

В тот же день, осматривая остатки громадного бассейна, служившего когда-то питательным резервуаром для фонтанов, я встретил в саду Федору, которой графиня подарила знакомую мне каштановую кобылку и разрешила, оставаясь при усадьбе, разводить гусей.

Федора с самым мрачным видом тащила за лапки пару дохлых гусей: головы их волочились по земле.

— Что, опять падеж у тебя?

— А як же! — тоном мрачного озлобления отвечала Федора, — хыба ж знайдется якась хвороба на того химородника кавкатаго. Ны якої холеры на него нэма!.. Кавкае на христианське добро, нечиста сыла...

— Ты думаешь, что это от ворона? — не мог я сдержать улыбки. — Да мало ли когда он там кавкает?

— А хыба жэ ні?.. — неожиданным взвизгом прорвался бас Федоры, уловивший скептицизм моего замечания. — Спытайтэсь на пятьдесят верстов по окрузи, то его нэ тильки уси люды, а усяка собака знае. Як зачнэ кавкаты, то за-всегда напасть якусь-нэбудь наклычэ. Як мовчит, то нычого и нэ будэ. А в прошлом роци як мы з вамы йихалы, хыба ж нэ кавкал?.. А вчора шла я на мистэчко, а вин як почал, як почал... А сэгодня пару гусок попсувало... Колы б нэ графска ласка, то я б доси вжэ с голоду подохла, як собака... — закончила Федора, прижимая к глазам передник, на котором предварительно долго высматривала самое чистое место. Потом с новым одушевлением Федора начала было:

— А хыба нэ казала я своему дурню, покойныку... — но уже известный мне монолог про покойника был прерван приближением одного из графских слуг, к которым Федора чувствовала огромное почтение. Поэтому она предпоч-

ла еще раз прижать передник к глазам и в этом положении удалилась.

Это было, кажется, на пятые сутки моего пребывания в усадьбе. Большую часть дня я проводил в разъездах, а потому больного видел редко. По вечерам супруги обыкновенно не выходили. Граф был занят книгами и планами. Молодая графиня занималась рукоделиями и чтением, казалась женщиной робкой, застенчивой, влюбленной в мужа, который, однако, почти не замечал ее, поглощенный работой и погруженный в свой загадочный внутренний мир.

Таким образом, мы оставались вдвоем со старой графиней, и беседа с этой умной и много пережившей женщиной доставляла мне неизменно большое удовольствие, которому не суждено было, однако, долго продолжаться.

### ХІІІ

Вечером того же дня, когда происходил описанный выше феномен и разговор с Федорой, графиня обратила мое внимание на прогрессирующую бледность и усталость графа, сердце которого мне случилось выслушать в тот же день.

Оно обнаруживало некоторую слабость пульсации и медленность удара. Я прописал холодные обтирания для повышения давления в сосудах, но граф отказался от этих операций. Пришлось заменить их некоторыми медикаментами в качестве менее хлопотливого лечения.

Поговорив с графиней, мы решили, что оторвать больного от работы нет никакой возможности, а потому оставалось покориться неизбежному. В тот же вечер была получена телеграмма о приезде на следующее утро двух знаменитых врачей из столицы.

Графиня поручила мне предварительные разговоры и ознакомление их с событиями последних дней.

Ко мне, молодому земскому врачу, оба они отнеслись со снисходительностью.

В комнате, куда мы сошлись для совещания, психиатр Б., высокий, лет сорока брюнет в пенсне, лысый, самоуверенный и в то же время шаркающий, светский и болтливый, начал с маленькой прелюдии, причем внушительность тона, подбор выражений, совершенно не идущая к случаю пространная растолковательность изложения, даже сила голоса, несоразмерная с помещением, в котором мы находились, все это сразу обличало привычного к лекциям профессора.

— Принимая на себя, с вашего согласия, любезный Семен Николаевич, обязанности председателя в собравшейся медицинской коллегии, я считаю необходимым предварить нашу совместную работу кое-какими общими соображениями в интересах принятого нами на себя дела. Целью этих моих соображений (постараюсь изложить их в самом общем, элементарном виде) я намечаю (здесь эти скобки были умело оттенены почтенной и светски-очаровательной модуляцией голоса) — познакомить нашего юного провинциального коллегу с теми принципами новейшей терапии, какие мы, профессора, находясь на вершине современного знания, с полным основанием ставим во главу угла нашей трудной и столь ответственной деятельности.

При последних словах, как бы под тяжестью этого сознания, брови оратора слегка сдвинулись и мимика мимолетно оттенила усталость мужа науки. Но затем, показывая свое нежелание обнаруживать «доступное немногим», он с бодростью и эффектным *crescendo* продолжал:

— Где бы я ни был, в какой бы уголок земного шара ни вызывал меня безжалостный герольд современности — телеграф, будь то ложе бедняка или царские палаты, будь то немощь одного из малых сих или же сложное страдание великого ученого, доверяющего своему собрату мучительную, интимную область тонкого психического механизма, расшатанного лихорадочными ударами современной жизни и непосильным напряжением падающей на нашу долю передовых бойцов работы; как ни разнообразна кажется подчас моя деятельность, все же внимательному наблюдателю ясно, что незыблемые принципы, метод моей терапии

ки, столь много обсуждающийся на страницах печати, всюду один.

Профессор сделал эффектный, исполненный достоинства и решительности жест.

— Я назвал его методом последовательной диагностики и исчерпывающего синтеза. Он складывается из: 1) предварительной или окружной диагностики; 2) центральной или сосредоточенной диагностики и 3) из собственно исчерпывающего синтеза. В свою очередь, предварительная или окружная диагностика складывается из: а) изучения генеалогического дерева предков больного, по возможности во всем его объеме; в) антропологической экспертизы над всеми наличными членами его семьи; с) из психологического анализа биографических данных, выясненных путем тщательного опроса не только каждого из родственников и знакомых больного в отдельности, но и при общем перекрестном сличении всех показаний. В частных случаях к предварительной или окружной диагностике нужно присоединить еще и пункт d): изучение творческих работ больного, если таковые имеются. Центральная или сосредоточенная диагностика состоит из...

Далее следовали опять подразделения, которые профессор с неподражаемым изяществом отмечал, произнося по-французски: а, в, с, d.

Центральной или сосредоточенной диагностикой профессор называл непосредственное психофизиологическое исследование самого больного. Тут с особой энергией он подчеркивал:

— В моем детальном анализе не должно быть ни одного потаенного уголка. Я не прошу — я требую, чтобы ни одна семейная тайна, ни одна щепетильная подробность не была скрыта; тогда и только тогда синтез будет действительно мастерским, действительно научным, действительно исчерпывающим. Сообразно с моим методом устанавливаются также и мои отношения к врачам, обнимающие три акта. Немедленно по приезде я назначаю до исследования больного первое заседание, где всегда с полной охотой и вниманием выслушиваю отчет лечивших до меня врачей, ка-

ковы бы ни были их скромные имена.

Видно было, что профессор ставил себе в особую заслугу это обстоятельство, а упоминание о скромных именах сопровождалось любезной улыбкой в мою сторону.

— Потом, имея в виду интересы врачей, я центральную диагностику провожу полностью в их присутствии, за исключением особого акта, который я называю интимно-врачебным исповедованием больного, требующим уединения и особой чуткости, а такой чуткости я, конечно, не вправе ожидать от рядового врача... И, наконец, я назначаю третье и последнее заседание медицинской коллегии, где приходится, предварительно утешив несчастных родственников больного, протянуть также руку помощи потерявшим голову врачам. На этом заседании я всегда так же охотно и внимательно выслушиваю все мнения и сам говорю последним. И вот, когда сознаешь, что являешься якорем спасения, что взоры растерянных врачей обращены на тебя, что все ждут от тебя ключа сложной трагической проблемы, то только тогда и чувствуешь себя спокойным, уверенным, незаменимым оплотом науки, когда скальпель твоего анализа проник по всем направлениям во всю глубину патологической картины, когда полностью владеешь всей мощью метода последовательной диагностики и всеисчерпывающего синтеза!

Профессор с видом полного самоудовольствия слегка кивнул головой, заканчивая речь, и повернулся, чтобы сбежать... с кафедры. Но, так как кафедры не было, то это движение, кажется, несколько смутило его, и для того, должно быть, чтобы дать ему естественное объяснение, он с любезной улыбкой подбежал ко мне.

— Ну, теперь мы вас слушаем, коллега.

Он потянул меня к столу, видимо, уверенный в произведенном впечатлении, и с подбадривающими похлопываниями усадил в кресло.

— Ну, ну, слушаем... Вы расскажете нам, что знаете о больном.

Когда после этого он с видом экзаменатора стал задавать мне вопросы, то много раз колкие ответы были у меня

на языке, но два соображения удержали меня. С одной стороны, любопытство, с другой — серьезность самого дела и нежелание быть предметом какой-либо неприятности в доме графа, где я находился в качестве врача и гостя.

Терапевт Семен Николаевич, лет пятидесяти, широкий, плотный шатен среднего роста, во время речи коллеги смотрел в потолок, пухлой рукой поглаживая бороду и время от времени кивая с видом сочувственной оценки. Потом, при моем экзамене, в противоположность живости психиатра, тягуче задавал вопросы и, важно кивая, хмыкал.

Психиатр отрезал четкой скороговоркой: «Это важно! Это показательно!»

— Да, да. Вам это представляется загадочным, конечно, — закончил он. — Но, видите ли, при свете современной науки выяснилось, что все явления подобного рода объясняются дезинтеграцией личности. Классические примеры вы найдете у Рибо или у Жане в его «*Automatisme Psychologique*», хотя, впрочем, уже с некоторым уклоном в сторону мистицизма. Не правда ли, Семен Николаевич?

— Пожалуй, — протянул терапевт.

— Да-да, несомненно. Но только не вздумайте вы читать Мейерса или Шарля Рише последние статьи. О, нет, ни в каком случае: это уже мистика настоящая, за которой следуют Фламарионы, Круксы, Аксаковы и прочая компания, ха-ха-ха. Наоборот, работа Поля Рише, хоть и устаревшая, очень интересна и почтенна... Это несомненно.

— Безусловно, — важно вставил терапевт, поглаживая бороду.

— Что касается меня лично, то физиологическим коррелятом этих явлений я считаю диссоциацию мозговых участков. Таким образом, наука превосходно овладевает чудесами и без помощи флюидов и астралей... И с этой стороны глядя, — значительно добавил он, — эти явления вполне достойны внимания науки. Советую и вам пополнить свое образование в этом направлении, коллега. Можно и в провинции почитать, хе-хе. Ну-с, однако, перейдем к больному.

Что происходило затем в комнате больного, хотя и бы-

ло довольно типично, но, чтобы не задерживаться, я передам эту сцену вкратце, тем более, что прямого отношения к рассказу она не имеет.

Началось с оскультации терапевта. Потом психиатр стал задавать свои вопросы, чтобы «нащупать психические центры», но граф как от нащупывания, так и от интимно-врачебного исповедования решительно отказался. Тогда прибывший с врачами фельдшер внес какую-то машину с ручкой. В комнате устроили полумрак, и фельдшер принялся крутить ручку. Послышался однообразный звенящий, подобно камертону, звук; в то же время появилась узкая щель света и тонкая полоска упала на засветившийся шарик. Таким образом, получилась фиксационная точка, на которую предложено было смотреть графу.

Предварительно, однако, психиатр просил нас отступить вглубь комнаты, а графа несколько раз взглянуть ему в глаза. Это делалось для будущего «рапора»\*.

Психиатр все время болтал, обращаясь к Семену Николаевичу и изредка ко мне. Физиологическая школа Шарко несомненно права, а Нансийская разве лишь в немногих отношениях. Бернгейм затемнил вопрос и он (психиатр Б.) всюду готов признать преимущество физиологической теории, несмотря на то, что психологическая, казалось бы, ближе стоит именно к его специальности. Напрасно теперь пытаются отрицать существование трех фаз Шарко только потому, что не всем удастся наблюдать их в чистом виде. Разве конкретная механика не бесконечно сложна, но это не мешает ей основываться на трех законах Ньютона...

Глаза графа закрылись.

— Вы видите, вот вам преимущества физиологического метода: это несомненно первая фаза, то есть летаргическая. Стоит только приподнять субъекту веки и мы получим состояние каталепсии. Однако, относясь с полной бережливостью к здоровью больного, мы откажемся от утомительных опытов, особенно для первого раза. Теперь между субъектом и мною имеется состояние рапора, усиливающееся

---

\* Доверительный контакт между больным и врачом, от *фр.* rapport.

в более глубоких фазах. Он слышит только меня. Вот, попробуйте задать ему какой-нибудь вопрос.

На губах у графа мне удалось разглядеть тонкую улыбку.

— Как вы себя чувствуете, граф? — спросил я.

— Я бы сообщил вам, доктор, но, к сожалению, не слышу вопроса, — отвечал граф невозмутимо.

Кажется, психиатр Б. понял убийственную иронию больного, но это его не смутило.

— Преинтересный случай! — воскликнул он с живостью.

— Упоминается также у Шарко, не помню где. Произошла диссоциация между центром слуха и волей. Как вы видите, он слышал ваш вопрос, но воля уже поражена, она сужестигнионирована моим заявлением, а потому больной и не дал вам прямого ответа. Проснитесь, граф, — поспешил он добавить, дунув больному в лицо и открывая свет.

Граф встал и, уходя из комнаты, обменялся со мной впервые вполне сознательным, саркастическим взглядом. Это была, впрочем, последняя вспышка сознательности и юмора среди тяжелого, мрачного настроения, в какое он все более стал погружаться. Врачи производили еще бесконечные антропологические экспертизы над старой графиней, мучили вопросами о предках и наследственности, что, кажется, очень утомило и сердило ее.

При прощании терапевт с успокоительной важностью сообщил, что, кроме повышенных рефлексов и некоторой сердечной слабости, впрочем, не угрожающей, он ничего болезненного в организме графа не нашел.

Психиатр сказал, по обыкновению очаровательно улыбаясь, маленькую речь о дезинтеграции и диссоциации, которые вполне могут быть излечены в его столичной клинике сообразно методу последовательной диагностики и всеисчерпывающего синтеза, с применением гипноза, которому больной прекрасно поддается.

— Я считаю, что краеугольный камень лечения уже положен моим посещением. Применение моего метода в моей клинике несомненно даст наилучшие результаты, и я надеюсь вскоре с вами увидеться в столице, графиня.

Далее оба врача приложились к ручке графини, взмах-



нули блестящими цилиндрами и сели в экипаж. Цилиндры еще раз взлетели на воздух, и гости укатили.

#### XIV

В этот вечер я довольно много говорил со старой графиней, интересовавшейся, между прочим, вынесенным мной от приезда знаменитостей впечатлением. Я отвечал неопределенно, не желая, по понятным мотивам, высказываться отрицательно о своих старших товарищах. Графиня, однако, сейчас же почувствовала влияние профессиональной солидарности в моих словах и заставила меня сознаться в этом. Оказалось, что приезжие врачи не внушали доверия ни ей, ни мне, а рассказанная мной сцена гипнотизации молодого графа и иронический ответ его врачам, видимо, доставили ей некоторое удовольствие.

Потом разговор перешел на бывшую в руках графини книгу, оказавшуюся биографией Ницше, написанной сестрой философа.

— Вы читали эту книгу, доктор?

— Только выдержки из нее.

— Тут есть упоминание об одном вопросе, близко касающемся моего сына.

— О чем именно, графиня?

— Дело в том... — графиня замялась в нерешительности, — впрочем, как с врачом и серьезным человеком, я буду говорить с вами без стеснений... Может быть, вы помните, что некоторые врачи приписывали болезнь Ницше его безбрачной жизни и притом воздержанию?

— Да, помню, но...

— Вас удивляет, что это может иметь отношение к моему сыну...

— Признаюсь... Ведь граф женат.

— Увы! это еще одна драма, которую пока никто не знает, но вам, как врачу и внушающему мне доверие человеку, я должна сказать, что брак этот пока фиктивный, и мне это

достоверно известно.

Я молчал, удивленный этим известием.

— Скажите мне, — с тревогой продолжала графиня, — какого вы мнения... Не может ли это быть одной из причин болезни моего сына? Если не причиной, то, быть может, усугубляющим обстоятельством?

— Личное мое мнение не может иметь для вас значения, графиня. Это один из спорных вопросов. Могу сказать, однако, что на международных врачебных съездах выносились неоднократные резолюции в том смысле, что врачам до сих пор не известна ни одна болезнь, имеющая причиной воздержание, хотя некоторые из них держатся иного мнения. Мой личный взгляд на стороне большинства в данном случае.

— Этот вопрос стоит мне многих мук, доктор. Теперь я не только тревожусь за сына, но чувствую еще какой-то мучительный стыд и тяжкую ответственность перед его женой...

Графиня сообщила мне подробности. Смущенная настойчивыми указаниями врачей, она решила женить сына, совершенно, впрочем, не обращавшего внимания на женщин, как и вообще на весь реальный мир. В искательницах богатой партии, конечно, недостатка не могло быть, но могла ли мать поручить единственного больного сына первой встречной авантюристке? С другой стороны, в аристократических кругах болезнь графа была известна, и ни одна почтенная семья не согласилась бы на брак его с дочерью, хотя бы при наличии искренней любви со стороны девушки, на что рассчитывать при том же было мало шансов ввиду сказанного равнодушия графа. Кузина графа, Леночка, воспитанная графиней в пансионе, скромная девушка, искренне любила его с детских лет.

— Я долго колебалась. Сообщив свой план Леночке и встретив с ее стороны горячее сочувствие, я в то же время советовала ей обсудить все последствия этого шага, указывала на опасности, но должна сознаться, что радовалась успеху своих доводов. Теперь...

Слезы блеснули на все еще красивых, впалых глазах гра-

фини.

— Теперь я чувствую, что принесла ее в жертву и весь ужас своей вины перед ней... Боже, за что это все!..

Графиня замолкла, подавленная тяжестью выпавших на ее долю испытаний.

Я чувствовал, как мало действительны утешения для горя этой женщины, а потому, как это обыкновенно делается, стал расспрашивать ее, интересуясь и входя в обсуждение подробностей жизни графа, давая матери возможность полностью высказать весь тяжкий гнет создавшегося положения. Я сам едва мог скрыть свое волнение, узнав, что граф был в К-ом университете, откуда был увезен позапрошлой осенью вследствие участвовавших припадков, после того, как однажды скрылся из дома ночью и вернулся лишь к утру, напугав мать. Мое подозрение, что граф и Эрик одно лицо, укреплялось с каждой минутой. В то же время, я испытывал мучительное колебание между желанием сообщить известное мне из дневника Мары и каким-то смутным чувством, мешавшим мне выдать тайны ее дневника, а также опасением увеличить тревогу матери, так как пришлось бы вплесть еще много загадочного в канву фактов и сообщить, кто именно покоится в дорогой ее сыну могиле.

Еще утром этого дня граф собственноручно поливал цветы на могиле, где уже установлены были мраморный крест и ограда.

На мои вопросы графиня сообщила мне, между прочим, интересную подробность болезни графа. В детстве возле мальчика наблюдались странные явления: предметы приходили в движение без всякого к ним прикосновения, слышались шорохи, стуки, иногда даже звуки шагов, мальчик с криком просыпался по ночам, потому что что-то невидимое стягивало с него одеяло и потрясало кровать. Явления эти с перерывами длились около двух лет, потом стали затихать и исчезли совсем на 13-м году его жизни. Затем значительно позже, в возрасте 18 лет, граф стал писать стихи, причем, по-видимому, совершенно бессознательно. По крайней мере, глаза его никогда не смотрели на бумагу, в начале писания рассеяннo устремлялись куда-то вдаль, затем

закрывались, а рука продолжала набрасывать стих за стихом, иногда с поразительной быстротой...

В первый раз испуганная графиня пробовала разбудить сына, но это вызвало сильнейший сердечный припадок, завершившийся глубоким обмороком, а потому от всякого вмешательства в этот процесс пришлось отказаться. В то же время обозначилась та форма болезни, которой граф страдает до сих пор, то есть болезненные припадки, во время которых граф становится другим человеком, иногда о самом себе говорит в третьем лице, смутными намеками отрывочно упоминает о чем-то, в действительности никогда не происходившем, порой беседует с кем-то невидимым, а главное, терзается муками совести за какое-то небывалое преступление.

Эти сообщения крайне поразили меня и, если бы не полное мое доверие к графине, я никогда бы в то время не поверил их возможности. Прощаясь, я, очень заинтересованный, спросил, не осталось ли образчика стихотворений графа. Графиня отвечала утвердительно и, попросив меня подождать, вскоре принесла небольшую тетрадку.

— Это мной переписано, — сказала графиня, передавая ее мне. — Я нахожу поэму очень красивой, но, быть может, я, как мать, пристрастна. Прочтите, если вам интересно, и судите сами.

Пройдя в спальню, я с любопытством раскрыл тетрадку, не ожидая, впрочем, ничего особенного в литературном отношении.

«Прометей и Эвника» было заглавие, данное, по всей вероятности, самой графиней. Банальность темы еще более укрепила мою уверенность в слабости произведения, но тут мне вспомнилось красивое стихотворение, написанное Эриком в тетрадке Мары. «Если Эрик и граф одно лицо, то поэма должна быть хороша», — подумал я и с интересом взялся за чтение. Изумление мое и восхищение перед литературным талантом графа возрастали с каждой страницей. Быть может, получив разрешение, я впоследствии напечатаю поэму, пока же не могу отказать себе в удовольствии вкратце передать ее содержание. К моему рассказу

она имеет то отношение, что является первым объективным доказательством тождественности ее автора с героем печальной повести Мары. Отличительной чертой поэмы графа считаю ее образность. В поэме нет ни одного отвлеченного стиха, граф в буквальном смысле мыслит в ней образами.

Начинается она описанием народного собрания в древней Элладе, где Прометей с потрясающей силой и подъемом призывает народ на геройскую борьбу с богами, обладателями священного огня. Народ рукоплещет, но более красивой речи, чем ее содержанию.

Прометею отвечают представители философских школ стоиков, эпикурейцев и скептиков.

Эти речи изумительны, главным образом тем, что философское умозрение облечено с небывалым искусством в чисто конкретную форму притч, ярких, образных и сильных. Ни одного отвлеченного термина. После последней, насмешливой речи скептиков толпа рукоплещет ораторам и осмеивает Прометея.

Во второй главе изображена лунная ночь над дворцом Прометея. Это чисто оперной красоты сцена. Прометей сидит на скамье перед статуей Зевса Громовержца и думает свои горькие думы о постигшей его неудаче. Тут к нему является дотоле неведомая Эвника. Она заявляет, что слышала его благородную речь и малодушные клики толпы, что готова идти за ним, разделить с ним все опасности пути и вместе с ним, если нужно, погибнуть.

Восхищенный Прометей прижимает девушку к груди, но от ее услуг отказывается. Ему труднее будет достигнуть цели, страшась за нее во всех испытаниях. Но тот, кого будут ждать уста Эвники, не устрашится и гнева богов.

Наступает рассвет; с этими словами и звуками хвалебного гимна Прометей покидает опечаленную Эвнику и, благословляемый ею, идет на подвиг.

Третья глава полна трогательного лиризма. Прикованный к скале Прометей, отчаявшись в возможности победить богов, в бессонные ночи среди тяжких мук старается навеять на далекую от него Эвнику сладкие, волшебные сны. Автор, неподражаемо играя стихом, дает несколько виде-

ний, достигающих спящей Эвники, но каждый раз обрываемых являющимся страшным образом прикованного Прометее. Эвника в слезах просыпается. Видения все красивее следуют одно за другим, но каждый раз с возрастающей силой обрываются, заслоненные фатальным образом истерзанного героя. Эвника в ужасе просыпается и бежит в горы.

Четвертая глава изображает ее преодолевшей все трудности пути, возле скалы Прометее, которого она тщетно старается освободить, не имея сил разбить цепи.

В пятой главе — олимпийское собрание богов, которому Гермес докладывает о подвиге Эвники. Боги поражены его рассказом. Чувствуется их невольное восхищение. Зевс спрашивает, хороша ли она. Гермес дивными стихами дает пленительный образ Эвники. Боги решают освободить Прометее и признать его и Эвнику достойными священного огня, но против этого восстают ревнивые богини и поднимают такую бурю протеста, что богам приходится отменить первоначальное решение.

Шестая глава изображает царство грез бога снов, Морфея. Бог в грусти сидит и размышляет над тем, что нет ни на земле, ни на Олимпе ничего столь красивого, столь благородного, что достойно было бы разделить с ним одиночество его обители. Он с нетерпением ждал возвращения своего певца, сказочника Эола, чтоб забыться под чарующий рокот арфы. Возвращается Эол, но его арфа издает странные, неслыханные звуки. Граф с неподражаемым мастерством дает описание грустных прелюдий Эола, завершая их с возрастающим эффектом красивыми фразами:

И впервые печалилась арфа Эола...  
И впервые заплакала арфа Эола...  
И впервые порвались Эоловы струны...

Разгневанный бог требует объяснения. Тогда Эол повторяет в очаровательной вариации рассказ Гермеса.

Восхищенный Морфей впервые сам вылетает из сонного царства с Бореем, Нотом, Эолом и Зефиром и мчится к скале Прометее. Здесь он освобождает героя и возносит его и

Эвнику в царство мечты.

Меня поразила художественная самостоятельность обработки этого старинного сюжета, в который графу удалось вложить новый смысл, бьющая по нервам красота, сила и неподражаемое изящество стиля, а также факт совпадения мотивов поэмы с грезами Эрика в его последнем свидании со Станкой.

## XV

Я размышлял над благодарностью поэмы для оперной обработки и было уже довольно поздно, когда мне послышался легкий стук в окно.

Признаюсь, что к этому вечеру в необычайной обстановке мраморного поместья я уже стал ощущать загадочную атмосферу, о которой говорила графиня, и нервы мои были напряжены.

Окно первого этажа было довольно высоко, так как под жилым помещением был еще полуподвальный этаж, а потому раздавшийся стук поразил меня. Инстинктивно, должно быть, я задул лампу, хотя в следующий момент мне стало досадно за обнаруженную трусость.

На дворе было лунно. Окно, где раздался стук, находилось на теневой стороне, но я все же тотчас узнал Федору и осторожно открыл его, заметив, что Федора стояла на маленькой лестничке.

— Что случилось? — спросил я, вглядываясь в удивительно бессмысленное, полуженское, полумужское лицо Федоры.

— Ходыть, панычу, я покажу вам щось.

— Покажешь? Где? Почему так поздно?

— Ходыть, — еще раз бесстрастно и тем более таинственно произнесла Федора, видимо, отказываясь от объяснений.

— Разве опять чуску попусвало? — пробовал я пошутить, чувствуя, однако, возрастающее волнение.

— Ходыть, — опять повторила Федора.

— Хорошо, сейчас выйду.

В саду между холмами аллеи на меня пахло приятной свежестью и ароматом лилий.

По усыпанным белым песком дорожкам Федора шла передо мною странной, неслышной, почти кошачьей походкой и, не знаю зачем, держала меня за рукав. С мраморных мостов свешивались уже распускавшиеся лозы дикого винограда и бросали длинные тени, между которыми поблескивали желтоватым сверканьем капли росы на высоких мраморно-неподвижных лилиях.

Мы свернули налево под мостик четвертого холма с итальянской надписью. Там Федора протолкнула меня немного вперед, в то же время придерживая рукою, как бы из боязни спугнуть кого-то.

— Бачитэ? — раздался ее шепот.

При слабеющем медном освещении заходившей луны я увидел могилу Мары, черневший за светом мраморный крест с желтоватым блеском, зубцы мраморной ограды. Тот же медный свет озарял верхушки недавно расцветших яблонь, где только что пели соловьи, но в этот жуткий час замолкли...

Ничего более не видя, я, при некотором сопротивлении все еще державшей меня Федоры, продвинулся на шаг далее из-за холма и тогда увидел графа.

Он стоял возле ограды в странной позе, подавшись немного вперед и протянув руки. За светом мне не видно было лица.

— Бачитэ? — еще раз шепнула Федора.

— Я вижу графа, — отвечал я, чувствуя, однако, по интонации шепота, что она указывает мне на что-то другое.

— А барышню?..

— Какую барышню? — шепнул я и вздрогнул, поняв, о ком она говорит.

— Покойницу.

— Что ты говоришь?.. Где?

— Над могылкою дывиться... Як жива стоять, тильки то колыхається, як з витру.



Сердце у меня билось, хотя я ничего не видел.

— Як я до вас шла, то ще тильки туманом над могилою яснило, — с необычайной для нее быстротой лепетала Федора, — а теперечкэ прохвара (привидение) как есть...

Я смотрел и видел только, как граф медленно, но с протянутыми руками склонился на колени, и тотчас же Федора зашептала скорее с изумлением, чем со страхом:

— Дывитесь: до графа поддалась... схывается до него... Ой, мамонько... Як поховалы (похоронили), так и есть... и покрывец бачу и намысто (ожерелье) блискае...

Волнуясь, я смотрел напряженно и со страстным желанием увидеть то, что видела Федора. Луна заходила, становилась темней...

Кажется, граф прошептал что-то, но что, я не слышал, хотя нас разделяло не более пятнадцати шагов. В тот момент, когда заходящая луна бросила последний тающий блеск зловеще медного света, он медленно повернул голову так, что в виде силуэта был виден его профиль, и тогда я услышал или угадал по движению губ три слова:

— Я жду тебя...

Руки его опустились и голова поникла к мраморной решетке.

Стало значительно темней и было совершенно тихо, даже сверчков нигде не было слышно.

Так прошло несколько томительных мгновений... Наклоняясь к самому уху Федоры, я шепнул:

— Видишь ли еще что-нибудь?

— Ни, зныкло до земли, — так же тихо отвечала она.

Мы в полной неподвижности ждали еще несколько минут. Затем граф поднялся и медленным шагом удалился.

— Нэ сдужае вин, — с равнодушием сказала Федора.

— Ты думаешь, что граф умрет? — спросил я и потому ли, что какое-то мрачное предчувствие было у меня тогда, но только вопрос мой прозвучал так серьезно, точно Федоре это действительно могло быть известно.

— Помрэ, — отвечала она уверенно и равнодушно.

Я ничего не отвечал... Федора молча удалялась, когда я нагнал ее и попросил никому не говорить о виденном, на

что она так же молча кивнула головой.

Затем я направился к Мраморной комнате. Из-за кустов, как из церкви, блеснули горящие лампы, странные лампы, сиявшие, казалось, непостижимо ярко в эту ночь, освещая всего лишь мраморные стены кругового коридора, но так жутко, торжественно, одиноко и скорбно, точно за стенами стоял гроб усопшего...

Под мраморной комнатой подвала не было: пол помещения приходился у самой земли, почему я мог особенно отчетливо видеть освещенные коридоры. Оба они сходились полукругами к огромным, из сплошного стекла дверям комнаты, бывших единственным (если не считать окошечек пред лампадами) ее освещением. Выходили они на низкую мраморную веранду, реставрированную по воле графа.

В щелях тяжелых, сдвигавшихся на ночь шелковых портьер не было света. Спит ли граф? Довольно долго я прислушивался, но, не слыша звуков, решил вернуться в свою комнату, хотя чувствовал ту степень нервной взвинченности, при которой о сне не могло быть и речи.

У себя я долго и сосредоточенно думал, почему Федора и граф несомненно видели нечто, чего не мог увидеть я. Эти мысли волновали меня, потому что я инстинктивно сознавал, что идея коллективной галлюцинации, которую услужливо предлагал мне рассудок, недостаточна. Я чувствовал тут что-то другое, что властно вторгалось в систему представлений позитивного миропонимания и к чему не могла приладиться «аперцепирующая масса», как выражаются психологи. Результатом этого был хаотический разброд идей, к которому присоединялось еще какое-то мучительное беспокойство.

В этих размышлениях прошло не менее часа, на дворе начинало сереть, когда какой-то музыкальный звук привлек мое внимание.

«Не досиделся ли я до галлюцинаций?» — была моя первая мысль. Нет, я ясно слышал еще несколько звуков не то цитры, не то арфы. Ведь молодая графиня также слышала музыку, вспомнилось мне. Где бы это могло быть? Я зажег

свечу и вышел из комнаты. Довольно долго воровской походкой мне пришлось безрезультатно бродить по коридорам. Звуки были слабые, доносились изредка, что очень затрудняло поиски. Наконец, мне стало казаться, что звучат они откуда-то снизу. Тогда, вспомнив, что в одном из коридоров в полу была дверь, очевидно, со спуском в подвал, я отправился к ней и, к удивлению своему, нашел ее открытой.

Крадучись, я приблизился и заглянул в черную дыру, предварительно за несколько шагов освободившись от свечи. Ни малейшей искры света не видно было в подвале. Я начинал думать, что ошибся в своем предположении, когда до меня донесся тихий, нежный звук.

Должно быть, в человеке глубоко заложена вера в мистику, а также и страх перед ней, или, может быть, нервы мои были уже сильно расшатаны всем предыдущим, но только я вздрогнул при этом звуке и нелепая мысль, что призраки Мары играют в этой полной тьме, на мгновение всецело овладела мной. Потом целый вихрь мгновенных, диких предположений, отголосков всевозможных комбинаций книжной романтики до анархистов и фальшивомонетчиков включительно пронесся в моем разгоряченном мозгу. Впрочем, я довольно скоро овладел собой, продолжая вслушиваться.

Еще несколько звуков раздалось. Теперь я мог различить, что они извлекались на каком-то ударном инструменте, а не на бряцающем, как мне сперва показалось. Скорее всего, это могли быть цимбалы. Звуки были тихие, осторожные, рука, видно, искала какую-то мелодию, иногда мне чудилось что-то знакомое, но неясно...

Я решил, наконец, исследовать их происхождение и, взяв свечу, стал осторожно по лестнице спускаться в подвал.

## XVI

Спустившись, я не знал, куда идти: предо мной с двух

сторон в тусклом освещении чернели какие-то огромные ящики, кипы перевязанных бумаг, старая кухонная рухлядь...

Вскоре возобновившиеся звуки дали путеводную пить моим блужданиям в огромном подвале со спертым, специфического запаха воздухом.

Я приближался к звукам и, наконец, путь мой был прегражден целой комнатой старой мебели. Виден был красный шелк, потускневшая позолота деревянных локотников заблестела тусклой стариной, и жуткие тени высоко взгроможденных огромных бронзовых канделябров шатнулись по стенам...

Послышался легкий звенящий звук где-то совсем близко.

Высоко подняв свечу и пристально вглядевшись в темноту, я увидел, наконец, фигуру, в которой сперва не узнал графа. Подойдя ближе, я рассмотрел инструмент, за которым он сидел. Это был клавесин, как я узнал позже, нечто очень похожее на рояль, но значительно уже, немного длиннее и с двумя одна на другой лежащими клавиатурами. Почему-то я ни малейшим образом не ожидал встретить графа здесь, а потому на некоторое время в своем изумлении приобрел ту же каменную неподвижность, какая отличала его в этот момент.

Придя в себя, я окликнул графа. Он не шелохнулся. Я подошел ближе и поднес свечу к самому лицу его. Та же неподвижность. Это красивое, тонкочертное лицо казалось восковым и в своей неподвижности производило то же тяжелое впечатление мертвого сходства, каким отличаются восковые куклы, обыкновенно стоящие у дверей балаганных музеев.

Пламя свечи, колеблясь, отражалось, как в неподвижном зеркале, в его глазах, немного суженных, чуть сдвинутых к переносице и поднятых вверх. В этих глазах и в лице застыло странное выражение. Точно несчастный автомат мучительно вспоминал, вернее, вслушивался в мелодию, которую кто-то ему нашептывал, и искал ее на клавишах. Опять что-то знакомое стало пробиваться в бессвяз-

ных звуках клавесина и, наконец, совершенно правильно прозвучало:

Дай умереть, тебя благословляя,  
А не кляня...  
Могу ли день прожить, когда чужая  
Ты для меня?...

Страница из дневника Мары ярко мелькнула у меня в памяти, и в этот момент, не стыжусь сознаться, я ощутил не только подозрение, но и мгновенную уверенность в ее продолжавшейся связи с графом...

Автомат все более и более овладевал мелодией, то подыскивая ее продолжение, то возвращаясь к началу.

«Однако, что же делать? — вскоре подумал я. — Оставлять графа в этом подвале нельзя: значит, необходимо его разбудить и отвести в спальню».

Тогда, вспомнив прием психиатра, я сильно дунул ему в лицо, почему-то назвав его — Эрик.

Молодой человек, как потрясенный, упал на спинку и схватился рукой за сердце.

— Кто меня зовет?.. Ты здесь, да... — шептал он.

Под рукой я чувствовал у него сильное сердцебиение.

Несколько раз несчастный повторял эти бессвязные восклицания и, казалось, хотел о чем-то говорить, но, вглядываясь в меня, замолкал.

Наконец, лицо его приняло нормальное выражение.

— Это вы, доктор? — сказал он, хмурясь и потирая лоб, — но почему мы здесь?

Он удивленно и недовольно оглядывался кругом.

— Что это такое? — он указал рукой на клавесин.

— Это инструмент, на котором вы только что играли.

— Нет, я не играю... и не умею играть... Тут холодно и душно... пойдете...

Он поднялся, немного шатаясь. Я взял его под руку и мы пошли. Я пробовал задавать ему вопросы: помнит ли он, как попал в подвал? бывал ли в нем раньше? и так далее. Ответы были отрицательно односложные и рассеянные.

В Мраморной комнате было уже почти светло. В ней, кроме мраморной кровати и такого же кресла, маленького столика, двух стульев, была еще оттоманка, стоявшая в это утро перед огромным камином.

Граф опустился на нее, уставившись на тлевшие угли. Я бросил на них несколько поленьев и стал в волнении ходить по комнате. Мучительное недовольство собой овладевало мной. Что я здесь делаю? За что мне так дорого платят, раз я ничем не могу помочь больному? и почему до сих пор я не сделал никаких попыток к этому?

Эти размышления были прерваны шепотом. Я подошел к графу. Глаза его были закрыты и на худом, жалком лице лежало выражение глубокой муки, чтобы не сказать пытки. Он что-то шептал. Я вслушался.

— Я не мог простить тебе одной ошибки, только одной ошибки я не мог простить... Боже мой. Боже мой. Я не мог пожалеть... Я замучил тебя здесь... в этих стенах...

Тогда я решил.

— Что вас мучает, граф? Скажите мне.

— Что меня мучает? — Граф раскрыл глаза, резко вдруг обернулся ко мне и странным, цепким, приковывающимся взором стал вглядываться мне прямо в глаза.

Я смотрел на него, не опуская взгляда, в ожидании чего-то и с тревожным любопытством. Так мне казалось, по крайней мере. Потом, когда прошло несколько секунд, я почувствовал неловкость такого фиксирования и в то же время удивление, почему я не отвожу глаз. Затем к этому удивлению присоединилось какое-то полужелание отвести глаза, которому я, однако, не последовал. Вслед за тем я почувствовал странное состояние в области солнечного сплетения и затылка, точно какую-то вибрацию в этих местах. В то же время во мне возникло некоторое, хотя слабое, как бы подавленное беспокойство при мысли, что меня гипнотизируют. И опять я почувствовал полужелание отвести глаза и опять ему не последовал и понял тогда, что желание это интеллектуальное, но не волевое. Это было странное ощущение какого-то раздвоения. У меня была идея отвести глаза, но эту идею все же нельзя было назвать желанием,

потому что воля как будто бы не сливалась с ней. Постепенно я чувствовал, как анализ мой слабеет, а к моим ощущениям присоединяется новое, странное и даже неприятное: я утрачивал чувство времени и не ощущал уже способности его измерения. Тогда же стало исчезать лицо графа, оставалась только блестящая точка одного глаза, на который я смотрел. Эта точка вскоре стала матовой и, все разрастаясь, превратилась в туман. Граф взял меня за руки (это было последнее, что я помнил о нем), и после этого у меня уже не оставалось ни памяти, ни воли, ни идей. Один только туман. Он таял над морем, которое слегка волновалось, хотя я не слышал шума. Скоро его не стало. Голубое море, яркий день, но без солнца, пена, скалы, амфитеатр гор, красивая вилла с зубчатыми стенами, совершенно белая, мраморная... Огромная веранда, волны бьют в стену и в мраморную лестницу и разбиваются в бело-серебристую пыль. Дальше сад, кипарисы, ручей, скамейка. Кто это там? Граф? Кто-то в одежде Евгения Онегина, похожий на графа, но старше, мужественнее, сильнее, решительней. Молодую женщину я не вижу ясно. Она облокотилась о перила скамейки и закрыла лицо рукой. Он что-то спросил у нее, что-то важное. Она закрыла лицо руками. Вот ее руки упали: она смотрит на него. Что-то знакомое в ее лице, совершенно искаженном ужасом. Она падает на скамью и я вижу, как ее тело бьется в тяжелых рыданиях. Он стоит суровый, непреклонный. Боже! когда конец этим ужасным, захлестывающим душу рыданиям? Вот он решился на что-то, берет ее за руки, и тогда она рыдает еще мучительней. Он уводит ее, почти уносит на руках...

Потом много смутных, быстрых, неудержанных памятью картин проносится предо мной. Я вижу Мраморное поместье, всюду строят, тешут мраморные глыбы какие-то смуглые люди. Другие копают землю на клумбы, выносят из оранжерей тропические растения в вазонах.

Все это проносится вихрем, заволакивается туманом, который все темнеет, становится совсем черным, с одним красным пятном. Я вижу, наконец, что это красное — огонь в камине Мраморной комнаты; в комнате ночь, только уголья

камина освещают двоих. Опять тот же незнакомец, но только в офицерской форме и белом парике. Одет он, как Герман, и сидит в мраморном кресле возле огня. Она на скамейке у его ног, опирается рукой на его колени. Оба смотрят на огонь. Он кажется престарелым, она больной. Не глядя на него, она тихо и грустно о чем-то говорит. Он бледнеет, закрывает глаза и я вижу, как острые белые зубы закусывают губу, и алая капля выступает на ней. Она вдруг подымает взор, посмотрев на него, вскакивает на ноги, охватывает его голову руками, жмет ее к груди и покрывает его лицо поцелуями. Так они замирают пред слабеющим огнем. Потом он медленно освобождается, гладит ее щеки рукой, целует в лоб и медленно уходит.

Она едва сидит на скамейке и смотрит на тлеющий огонь. Красное пламя, недвижимое, потухающее... Взор ее тонет в нем, как в глубокой дали, она что-то видит и не знает, как слезы каплями, медленно, перерывами, скользя и искрясь, падают на белое, кажущееся алым платье. Все темнее становится: я вижу одни только грустные глаза... глаза Мары...

Потом третья картина выплывает предо мной. Сперва я вижу только одну восковую тонкую свечу. Она стоит на большой толстой церковной свече с золотым плетением. Эта последняя в центре серебряного большого светильника. Потом я замечаю черный клобук, желтое лицо старого монаха, шевелящиеся губы, аналой и пред аналом ярко освещенный треугольник. Кругом темно. Я вглядываюсь в треугольник и вижу, что это головная сторона крышки большого мраморного гроба. Где это? Я вглядываюсь в темноту и тогда замечаю его, и, кажется, я вздрагиваю от ужаса, взглянув на это лицо.

Он смотрит широко раскрытыми, но страшно впалыми глазами на свечу. Руки дрожат, слегка опираясь на гроб, потом он проводит ими по лбу, хватается за голову, точно вспоминает что-то. Какая-то мысль проносится в его безумных глазах. Скорбная складка рта становится вдруг властной, решительно хмурятся брови. Он схватывается руками за кант гробовой крышки и силится поднять ее.

Я вижу, как страшно напрягается его тело, белые зубы



вонзаются в губу и кровь стекает по подбородку.

Тяжелая крышка начинает медленно подниматься и вскоре тяжело падает на огромный черный стол.

Несколько монахов подбегают к нему, что-то говорят робко и почтительно, удерживая его за руки. Он отстраняет их движением, в котором еще чувствуется привычная власть, потом осторожно приподымает саван, с ужасом отшатываясь, смотрит на ее лицо — прекрасное, изваянное величественным резцом смерти. Странная улыбка кривит углы его рта, он гладит ее щеки руками, силится осторожно поднять мертвое тело и не может. Монахи подбегают к нему, между ними завязывается ужасная борьба над трупом, я слышу его смех, картина туманится в моих глазах, но страшный смех звучит все яснее...

Кто-то зовет: «Доктор».

Я пришел в себя и увидел пред собой искаженное лицо графа. Это он так смеялся, сидя на оттоманке.

Мои руки уже были свободны, но несколько мгновений я не мог двигаться.

Графиня трясла меня за плечо и кричала: «Доктор! Доктор!»

Я слышал и ее голос, и слабеющий смех графа, но никак не мог осознать с полной ясностью, где я нахожусь, а потом, уже сознавши, не мог сделать волевого усилия, чтобы овладеть собой... Когда, наконец, вернулось самообладание, краска стыда залила мне лицо. Я кинулся к больному.

## XVII

С графом случился тяжелый сердечный припадок. Мне пришлось прибегнуть к очень сильным средствам, после которых он погрузился в глубокий сон, а я остался с двумя потрясенными женщинами. Леночка плакала, старая графиня, крепясь, расспрашивала меня о происшедшем. Особенно поразило их состояние, в котором они застали меня. Не зная, возможно ли рассказывать при молодой женщине о

своем страшном видении, я сослался на внезапные недомогания, которым наследственно подвержен, но, оставшись наедине со старой графиней, не считал возможным скрывать от нее истину, умолчав лишь о происходившем на могиле Мары. Врачу во всех положениях необходимо сохранять самообладание и активность, вот почему происшедшее со мной сильно смутило меня и казалось чем-то вроде скандала.

Графиня сейчас же заметила связь между моими видениями и стихотворением Мраморной комнаты.

— Разве это не объективные данные? — с тяжелым вздохом спросила она.

— Можно держаться и другого мнения, графиня. Вам представляется, что и стихи, и видение имеют общим источником какой-то нам неизвестный факт; возможно, однако, что стихи-то и вызвали в фантазии графа ряд видений, им мне переданных. Что же касается самих стихов, то им, конечно, могло что-нибудь соответствовать в действительности, но в этом уже не оказывается ничего таинственного.

Графиня грустно покачала головой.

— Конечно, доктор, все можно толковать и так, и иначе, но старое мое сердце материнское не обманывается, и в этой проклятой усадьбе нам что-то угрожает.

Мы долго говорили. Желая поддержать столь нужное самообладание графини, я старался разубедить ее, хотя сам тогда мало верил тому, что говорил, находясь под сильным впечатлением всего пережитого и обладая значительно большим числом тех объективных данных, доказательность которых тщательно оспаривал, главным образом, чтобы замаскировать необъяснимое чувство стыда, мной овладевшее.

В течение двух последующих дней, ввиду сердечной слабости у графа, я приписал ему полную неподвижность, которой он безропотно подчинился, находясь в состоянии полнейшей апатии и мрачного безразличия.

Я очень много передумал за эти дни, мысленно переживая не только все происшедшее в усадьбе, но и каждую

страницу дневника Мары. Теперь у меня не было сомнений в том, что граф и Эрик одно лицо, и лишним доказательством их тождественности было одно маленькое обстоятельство, о котором я забыл упомянуть. Во время последнего припадка графа молодая графиня прибежала в капоте с небольшим вырезом, и тут я совершенно бессознательно заметил и вспомнил лишь позже, что у нее была «большая родинка как раз в той ямочке на груди, где горло кончается».

Меня волновали, однако, гораздо более глубокие коренные вопросы человеческого миропонимания, и то, что немцы называют *Kardinalfrage der Menschheit*\*, во весь свой гигантский рост стояло предо мной.

На третий день я должен был побывать в больнице. После работы Каганский всегда любил поболтать за стаканом чая и рюмкой вина. Сознание своей пригодности на склоне лет все еще стоять во главе больничного дела, видимо, очень льстило старику, ставшему разговорчивым и общительным. В этот день, хоть я и спешил возвратиться в «Мраморное», но отказать ему в обычной беседе не решился, и тут-то Каганский, старожил этих мест, рассказал мне, что знал из истории «Мраморного поместья».

Никогда ни до, ни после ни один рассказ не произвел на меня такого впечатления, как этот. Причины слишком ясны, чтобы стоило о них распространяться. Вот что я узнал.

В начале 19-го столетия Мраморное поместье входило в состав необъятных владений одного молодого русского князя. Мраморным оно стало называться со времени его женитьбы, когда от берегов Сицилии с невероятными трудностями были доставлены огромные мраморные глыбы. Там же князь нашел и жену. У будущей княгини оказалось прошлое, в котором она чистосердечно покаялась своему жениху. На князя это произвело тяжелое впечатление, однако, он решился все забыть и простить с тем, чтобы княгиня навсегда рассталась с родиной.

---

\* Кардинальный вопрос человечества (нем.).

Князь рыцарски сдержал слово. Все возможное, дабы облегчить жене разлуку с родиной, было сделано.

Кроме фонтанов, оранжерей с тропическими растениями и Мраморной комнаты, князь собирался выстроить целый дворец из сицилийского мрамора, однако не успел этого сделать.

Княгиня вскоре заболела тоской по родине и тут между молодыми людьми началась взаимная пытка. Сперва это было тяжелое молчание. Князь, видя молчаливую грусть жены, таил муки ревности к ее прошлому, княгиня ни слова не говорила о родине.

Затем начались разговоры, подслушанные слугой-итальянцем, а впоследствии им рассказанные. Горькие слова срывались с обеих сторон, кончались долгими рыданиями княгини при тяжелом молчании князя. Потом было примирение и раскаяние с обеих сторон, но ненадолго.

Эта тяжелая жизнь стала губительно отражаться на здоровье молодой женщины, а суровый непривычный климат довершил дело, и когда, наконец, князь решился везти жену на родину, она была уже в таком состоянии, что в условиях того времени это оказалось невозможным.

Вскоре княгиня умерла, а несчастный князь еще некоторое время терзался укорами совести, и, наконец, покончил с собой в припадке умоисступления, как тогда говорили.

Старый итальянец-слуга уверял, что сам видел через окно Мраморной комнаты, где в это время находился князь, призрак княгини, написавшей стихотворение на одной из стенных плит.

На следующее утро стихов не оказалось, но князь приказал начертать их золотом на мраморе в том виде, в каком они до сих пор сохранились.

В припадке умоисступления в ночь самоубийства он стер последние две строфы. Что же касается других стихов, то, говорят, они были написаны князем еще задолго до болезни жены.

Так рассказывал Каганский, удивляясь глубокому впечатлению, производимому на меня его словами.

Не было, однако, ни времени, ни охоты пускаться в объяснения, с которыми я, извинившись, просил обождать.

Превосходные лошади графини мчали меня в мягком ландо среди тихих, долго не увядавших весенних сумерек. Внизу ночь уже начала свое медленное таинственное завоевание и армия легких теней захватила все прикрития. В тишине воздух весь золотился. Возле старой башни еще розовели верхушки цветущих яблонь, а темно-бронзовый крест сиял, казалось, собственным светом.

Иссиня-черные крылья ворона в красноватых отблесках отливали лиловым, он казался огромным, особенно клюв, точно черное долото на оранжевом зареве заката. Мрачная птица пропустила нас в недвижимом молчании.

Я испытывал в эти минуты настроение, доступное, кажется, только молодости, когда душа, вся полная переживаниями напряженного долгого дня, особенно хорошо чувствует эту полноту, наслаждается ею и вместе с тем чувствует смутно и наслаждается почти всегда бессознательно присутствием огромной всепроницающей тайны под необъятным куполом неба, над потемневшими, влажно дышащими цветами, среди таинственного течения надвигающейся ночи, в гигантских объятиях несгорающего заката... Под влиянием рассказа Каганского, я ощущал эту тайну с особой явственностью. Теперь для меня выяснилось значение моих видений, странным фантастическим светом озарялась болезнь графа, вспоминалось тяготение Мары к югу, и самые сказочные возможности кружились в голове.

В усадьбе меня ждало новое известие. Графиня сообщила, что у графа повторился один из его припадков, он много бредил, но довольно бессвязно. Графиня могла лишь разобрать терзание совести в его словах. Затем, в полусознательном состоянии узнав мать, он стал горячо просить разрыть склеп, находящийся, по его словам, под холмом с итальянской надписью.

— Я уже знаю по опыту, что, если не будет исполнено его желание, то даже в сознательном состоянии он будет мучиться и упрекать меня. Обыкновенно он говорит: «Я о чем-то просил, тебя, мама, а ты не исполнила...» Он как

дитя... — вздохнула графиня.

Поговорив, мы решили, ввиду вероятных для графа потрясений, воздержаться пока от вскрытия склепа в ожидании вторичного напоминания с его стороны, каковое, впрочем, очень скоро последовало.

Уже на следующий день, в больнице, я получил от графини записку с просьбой приехать немедленно: «Сын потребовал вскрытия склепа, отказать не было возможности, — писала графиня. — Работа сейчас начинается, я очень беспокоюсь...»

День клонился к вечеру. Независимо от записки графини, я собирался ехать в усадьбу в этот обычный час и это было ей известно.

Если графиня все-таки решила поторопить мой приезд, то, вероятно, беспокойство ее достигло высших пределов, соображал я, а потому поехал, не теряя ни минуты времени, с чувством возрастающей тревоги и готовый ко всему худшему.

## XVIII

Потрясающая действительность ожидавшей меня фатальной ночи все же далеко превзошла мои ожидания.

Кучеру, видимо, была дана особая инструкция, ибо обычная, достаточно быстрая езда на этот раз превратилась в какую-то бешеную скачку.

На западе залегали грозовые тучи, солнце еще не зашло, но скрывалось за ними, и оттого в этот день рано заволокло. Мы почти в карьер мчались мимо башни, но под пригорком ее одна из лошадей оступилась и, пожалуй, упала бы, если б не опытность кучера, ловко подхватившего ее вожжами. В этот момент ворон, должно быть, испуганный быстротой езды и случившимся, сорвавшись с бронзового креста, беспорядочным волнистым взлетом громко захлопал широкими крыльями над нашей головой, издавая карканье, тем более неприятное, что обычные низкие груд-

ные ноты перебивались какими-то срывающимися, высокими, тревожно-резкими выкриками. Нервы мои были, вероятно, не в порядке в то время: по крайней мере, я помню, что птица показалась мне отвратительной, а крик ее зловещим.

У крыльца поджидавший меня слуга с невозмутимой выдержкой доложил:

— Ее сиятельство велели мне проводить вашу милость к усыпальнице, где сейчас производится работы.

Минова проводятого, я почти бегом очутился у склепа.

В освещении узкой полосы багряного заката под чернью грозовых туч, между двумя холмами виднелась группа людей и блестели несколько фонарей. Обе графини и граф стояли возле колонн под мостиком, ближе всех к рабочим, разбивавшим кирками кирпичную стену, которой была замурована дверь склепа. Земля, маскировавшая кладку, уже была отброшена.

На некотором расстоянии в почтительном молчании собрались почти все слуги усадьбы.

Обе женщины встретили меня движением, в котором выразилось напряженное ожидание помощи в этот момент. Впрочем, Леночка, все время прижимавшаяся к тетке, не решаясь подойти к мужу, вскоре опять перевела на него свой испуганный взор и в этом положении застыла.

На благородном лице старой графини выражалась подавленная тревога и решимость покориться судьбе. Она сообщила мне, что рабочие, среди которых о Мраморном поместье ходило много толков, отказались было разрывать склеп, особенно предвидя, что работа затянется до ночного времени. Тогда произошло то, чего не могла предвидеть и графиня, хорошо знавшая сына.

Граф молча вышел к рабочим и, подойдя, положил одному из них руку на плечо. Эта рука так сжала плечо парня, что мужичок застонал и, испуганно взглянув в мрачные глаза графа, упал на колени. За ним грохнулись в ноги и четверо его товарищей.

— Ваше сиятельство... отпустите... Зделайте мылость...

— Работать! — отвечал граф таким голосом, от которого

вздрогнули пять человек и, переглянувшись, молча взялись за лопаты.

Графиня передавала мне подробности шепотом, в котором к волнению, кажется, еще примешивалась некоторая доля материнского восхищения.

Я отошел на несколько шагов, чтобы увидеть лицо графа. Оно было бледно, брови сдвинуты и новое выражение властности поразило меня в нервно кривившихся губах. Глаза блестели, неподвижно устремленные на медленно разрушавшуюся каменную стену.

У графа жар, подумал я и, подошедши на правах врача, взял его за руку. Кажется, он не заметил этого. Рука была горяча, а пощупав пульс, я нашел удар медленным и напряженным. Встревоженный неблагоприятной комбинацией показаний и стараясь не выражать этого на своем лице, я инстинктивно посмотрел на Леночку и, заметив истерическую напряженность в ее взгляде, решил, что в эту ночь придется иметь дело с двумя больными.

Подойдя к старой графине, я шепнул ей свои опасения и советовал удалить невестку.

— Я уже пыталась, — отвечала графиня, — она не захотела.

Оставалось ждать событий. Гроза быстро заволакивала небо, надвигаясь в полной тишине и безветрии. Становилось все темнее; в тусклом свете фонарей множились и разбегались огромные тени работавших рук, желтели лица и блестели глаза стоявших поодаль полукругом людей. Работа быстро подвигалась; оставалось отмуровать не более полуаршина нижнего края дверей. Кирки, разбивая стену, порой ударялись о двери; тогда отваливались куски облепившего их глиняного раствора и обнажался цинк, на котором блестели царапины. При этом в напряженной тишине двери sklepa глухо и неприятно отзывались на удары.

Так в полном молчании прошло несколько тяжелых минут, когда раздался первый раскат грома и вслед за ним еще два, из которых потрясающим грохотом прозвучал последний.

Рабочие, бросив кирки, крестились.



Прошло полминуты: они не трогали кирок. Кто крестился, кто стоял, опустив глаза в землю.

Я понял, что это означало отказ от работы, и соображал, как вмешаться в дело и как поступить, когда раздался голос графа, при котором все мы вздрогнули.

— Эй, люди, — крикнул граф, поворачиваясь к слугам, и чем-то странным, каким-то отзвуком прошлого властительства прозвучал этот окрик, и так же странно, точно давно привыкшие к этому властному велению, люди графа, как один человек, бросились к нему и обступили, преданные, сплоченные, в ожидании малейшего знака, готовые на все.

— Окружите их.

Слуги стали двумя шеренгами возле дверей, быстро и в полной тишине. Очутившись между ними, рабочие испуганно переглянулись, но, встречая сдвинутые брови и сверкающие взгляды, говорившие лучше слов, молча взялись за кирки.

Граф по-прежнему неподвижно смотрел на работу, но по иногда вздрагивавшему фонарю в его руке можно было понять, в какой степени нервного напряжения он находился.

Изредка гремело над нами, и яркое сверкание освещало его бледное лицо, кривившиеся губы и напряженный лихорадочный взгляд. Никто из рабочих не смел ни на мгновение прервать работу, и, после раскатов грома, в полной тишине по-прежнему бегали огромные тени рук, и под удары кирок глухо отзывались двери склепа.

Леночка плакала на плече тетки, и я с облегчением заметил это благоприятное разрешение нервного кризиса, в котором она находилась.

Так прошло несколько минут напряженного ожидания, в течение которых никто не сказал ни слова, никто не шелкнулся.

Для объяснения последовавшего, я должен сказать, что пол склепа оказался несколько выше уровня земли; к нему вели три ступени. Вот почему, когда граф бросился к открытым дверям, то его фигура не заслонила толпе того, что оказалось в склепе.

Случилось это таким образом. Было уже совершенно темно, когда рабочие, отбросив последний кирпич, остановились в нерешительности пред освобожденной дверью. По знаку графа двое слуг схватились за ручку дверей, стараясь раскрыть их, но, залитые местами глиняным раствором, они не сразу поддались.

Когда же, наконец, двери раскрылись, граф с фонарем первым бросился вперед. Я преградил ему дорогу и таким образом очутился спиной к склепу. Хотя физически сила моя довольно значительна, граф, однако, с легкостью отбросил меня в сторону и подбежал к дверям.

Только тогда я повернулся, и в то же время раздался сдавленный крик ужаса отшатнувшейся толпы, и полное молчание наступило затем.

Я также, кажется, вскрикнул, не веря своим глазам, не то от ужаса, не то от изумления.

В дверях перед ступеньками склепа стоял граф, высоко подняв фонарь над головой, а за ним в глубине склепа виднелась белая фигура женщины. Я вскрикнул, потому что это была Мара...

— Прохвара (привидение), — раздался в гробовом молчании звучащий странным спокойствием голос Федоры.

— Станка!.. Станка!.. — простонал полный не то радости, не то отчаяния голос графа, и с этими словами он бросился в склеп.

В два прыжка последовав за ним, я еще слышал вопль Леночки, затем упавшей в бессознательном состоянии на руки женской прислуге. Все остальное представилось мне каким-то страшным кошмаром и действительно походило на кошмар.

Прежде всего, я понял, что поразившее меня было не призраком Мары, а мраморной статуей женщины, поразило на нее похожей, но это, кажется, несколько не уменьшило чувства даже не изумления, а какого-то дикого хаоса, охватившего меня несмотря на то, что мысль о графе, мысль врача о больном, уже снова овладела мной. И все-таки чувство хаоса, несознания действительности, чувство сна, лишённого масштабов возможности, оставалось во мне,

потому что сам граф был частью этого сна, вернее, кошмара.

Но где же он был? Ворвавшись в склеп, я думал найти его у ног статуи, на которую смотрел, но его не было. Тогда я оглянулся.

Справа от дверей фонарь графа горел на аналое, ярко освещая треугольник. Кругом было темно. Вглядевшись в треугольник, я понял, что это головная сторона крышки большого мраморного гроба. Вглядевшись в темноту, я заметил его и, кажется, вздрогнул от ужаса, взглянув на это лицо. Он смотрел широко раскрытыми, но страшно впалыми глазами на фонарь. Руки дрожали, слегка опираясь на гроб. Потом он провел ими по лбу, схватился за голову, точно вспомнив что-то. Какая-то мысль пронеслась в его безумных глазах. Скорбная складка рта стала вдруг властной и решительно сдвинулись брови. Он схватился за кант гробовой крышки и силился поднять ее. Я видел, как страшно напрягалось его тело, белые зубы вонзились в губу и кровь стекала по подбородку...

Только тогда я заметил старую графиню (не знаю, была ли она возле нас раньше). Графиня бросилась к нему и с криком «Витя, что ты делаешь?» схватила за руки, но не могла помешать. Движимый не знаю каким побуждением, вместо того, чтобы следовать ее примеру, я вдруг неожиданно для самого себя сам схватился за кант гробовой крышки, напрягая силы, чтобы поднять ее. Тогда тяжелая крышка стала медленно подниматься и вскоре тяжело рухнула на огромный черный стол. Вслед за падением раздался оглушительный грозовой удар, подавленный вскрик графини и тут, в присутствии слуг, толпившихся у стены склепа, произошло самое ужасное

Как только была свалена гробовая крышка, обезумевший граф закричал потрясающим истерическим и вместе с тем сильным голосом, походившим на сплошной страшный стон:

— Люди!.. Мама!.. вот та женщина, которую я замучил!..

С этими словами безумец опустил руки в гроб таким образом, точно хотел поднять покойницу. Когда он поднял

их над гробом, отступая на шаг, что-то серое повисло на его руках. Это были ужасные остатки савана и платья; кажется, был шелк и ленты. Обрывая эти серые истлевшие лохмотья, какая-то тяжелая кость вместе с трупным порошком упала на мраморный пол склепа.

Крик ужаса вырвался у присутствовавших. Графиня, сраженная этой сценой, упала на колени перед аналоем. Я невольно отступил на шаг в оцепенении. Граф с приподнятыми руками точно вырастал над нами.

— Смотрите, вот она!.. Это я сделал... я! — кричал он, обводя всех сверкающим взглядом.

Кости, обрывая липкие, как паутина, лохмотья, падали на пол и трупная зола отвратительным порошком разлеталась в воздухе, а граф, вытягивая палец к мраморной статуе, уже задыхаясь, кричал:

— Вот какой она была, и вот что я с ней сделал!.. Это я!.. Я!.. — протянул он, и этот звук перешел в потрясающий хохот трагического безумия.

В этот момент, опомнившись, я схватил его за руки, но они, как железные, не опускались, пока он хохотал.

Внезапно смех оборвался, и граф упал навзничь с вытянутыми руками, опрокидывая на себя свою страшную носу и почти увлекая меня своим падением.

Графиня бросилась к нам со слугами и имела мужество срывать с лица и одежд сына страшные остатки липнувшей, как паутина, ткани.

Мы перенесли графа в глубочайшем обмороке в комнату матери, где мне пришлось приложить немало усилий, чтобы привести его в чувство. Первое время положение было таково, что ни на минуту я не мог отойти от него. Оно осложнялось еще тем, что в одной из отдаленных комнат, где временно поместили Леночку, она билась в жесточайшем истерическом припадке. Это отвлекало графиню и затрудняло помощь в беспрестанной смене приемов и лекарств, какие приходилось применять.

Когда истерическое состояние молодой женщины улеглось, я дал ей сонные порошки, но подействовали ли они, не знаю.

## XIX

Была уже глубокая ночь, когда граф пришел в себя при медленном пульсе и повышенной температуре. Положение оставалось очень тревожным. Что удивляло и пугало меня особенно — это шумы, указывавшие на глубокие органические пороки сердца. Это казалось мне необычайным, ибо несколько дней тому назад я мог уловить только слабость, теперь же за несколько часов совершилась разрушительная работа многих лет. Не зная, как будет протекать ночь, имея в виду сомнительное состояние Леночки и тревожась сердечными явлениями графа, я ощущал знакомую врачам в этих случаях потребность в присутствии товарища по профессии, а потому послал за Каганским. Дождя не было, но висели тучи, и бесшумно сверкало в воздухе.

Был час ночи. Часам к трем утра Каганский мог явиться, кроме того, к этому же времени должен был приехать и брат графини.

В обморочном состоянии лицо больного было спокойно. Как только граф очнулся, брови его сейчас же сдвинулись и выражение обычной усталости и озабоченности появилось на лице.

— Почему я здесь? — спросил он. Голос был слаб. Графиня отвечала.

— Перенесите меня в Мраморную комнату, — потребовал больной.

Графиня пробовала мягко протестовать.

— Ты должна это сделать, мамочка, — возразил он тоном убежденности, не допускавшей противоречия.

Желание больного пришлось исполнить, а также зажечь фантастическое освещение лампад.

В Мраморной комнате граф некоторое время лежал молча; лицо его стало принимать выражение особого спокойствия, а глаза, упиравшиеся в мраморную стенку, смотрели, казалось, куда-то очень далеко.

— Мамочка, — раздался его сильно ослабевший голос.

Он долго всматривался в склоненное лицо матери, ка-

залось, с трудом отрывая внимание от своего внутреннего мира, потом взор его выразил глубокую нежность к ней; больной поднял руку и перекрестил ее седую голову. Голова эта склонилась ниже, обычное самообладание изменило графине и несколько слезинок упали на грудь сына.

— Поцелуй Леночку, мама, — тихо и серьезно сказал граф, — и исполни одну мою просьбу.

На вопрос графини он объяснил.

— Ты должна теперь уйти, мама, и оставить меня с доктором, пока я не позову тебя. Ты даешь мне слово, что не придешь раньше? — добавил он, заметив по молчанию матери ее колебание.

— Даю, — твердо ответила графиня и, поцеловав сына, удалилась.

Следуя за ней в коридор, я знал, что с ее стороны будет поставлен тот вопрос, на который так тяжело отвечать врачам. Состояние графа внушало мне сильные опасения как несоответствием пульса и температуры, так и особенным спокойствием лица и некоторыми другими признаками, доступными привычной наблюдательности врача.

Вопрос мне действительно был поставлен. Взглянув на осунувшееся лицо графини и почти с мольбой устремленные на меня глаза, сказать ей всю правду я не решился, но предупредить было необходимо.

— Я ничего не могу сказать определенного, графиня, непосредственной опасности, кажется, нет (и это была ложь), но поручиться хотя бы за ближайшее будущее я не могу. Вы должны быть ко всему готовы.

— Обещайте мне одно, доктор.

— Требуйте, графиня.

— Вы должны позвать меня, как только... — голос ее дрогнул и оборвался.

Конечно, я обещал, и кто мог бы поступить иначе? И вот теперь, спустя несколько лет, это обещание болезненно вспоминается мне. Правда, я по справедливости не был виноват: я не мог его выполнить. И все же несдержанное обещание, данного при таких исключительных обстоятельствах, каким-то пятном лежит у меня на душе.

Вернувшись в спальню, я поставил больному термометр, показавший температуру, близкую к нормальной. Это несколько улучшало положение, хотя пульс по-прежнему был слаб; оно могло, однако, считаться и плохим показателем, если бы падение на этом не остановилось.

Но особенно меня тревожило лицо графа: посветлевшие, ставшие характерно водянистыми глаза, особенным образом как бы разглаживавшиеся морщины, все это имело многозначительно жуткий характер.

Граф некоторое время лежал в полной неподвижности, молча, затем раздался его спокойный, но очень слабый голос.

— Доктор, скажите маме, чтобы никого не пускали в эти коридоры.

Когда я передал смущенной и взволнованной графине это желание, она отвечала, что всю надежду возлагает на мое обещание и просьбу сына исполнит, как всегда, чего бы ей это не стоило. Затем больной попросил еще закрыть на задвижки двери из коридоров в комнаты.

Щелкнуть задвижками и оставить их отпертыми была первая моя мысль. Так и должно было поступить. Тогда, быть может, кто-нибудь зашел бы в нужный момент и успел бы затем позвать графиню в то время, когда я не имел уже возможности этого сделать. До сих пор не могу понять, почему я именно так не поступил: какие-то бессознательные, скрытые причины выставили предлогом невозможность обмануть умиравшего, хотя мы, врачи, по необходимости сплошь и рядом это делаем. Но в то время довод этот показался мне неотразимым и двери были заперты.

Некоторое время после этого в тишине, прерывавшейся лишь перерывным падением капель из мраморных урн в коридорах, я молча следил за неподвижным взором графа, тонувшим в каких-то неведомых далях...

Затем на лице больного выразилась тревога, впалые глаза метнулись из стороны в сторону.

— Вас что-нибудь беспокоит, граф?

— Потушите свет, — шепнул он.

— Оставаться в полной темноте невозможно ведь. Мо-

жет, быть, потушить лампы с одной стороны, а с другой я поставлю возле вас экран?

Некоторое время не было ответа.

— Потушите все, кроме одной, — шепнул он наконец.

Из четырнадцати лампад я потушил тринадцать, закрыл также краны в урнах и оставил одну справа от постели больного, возле двери того коридора, которым обыкновенно пользовались для прохода.

Вернувшись, я сел в мраморное кресло у самой постели. Было настолько темно, что только через некоторое время я смог различить закрытые глаза графа. Справа от изголовья постели, прямо передо, мной золотые буквы на мраморной доске местами чуть светились, но так слабо, что читать нельзя было. Я сидел, напряженно прислушиваясь к медленному дыханию графа. В комнате настала полная тишина. На освещенном лампадой кругу мраморной стенки с левой стороны от постели черные тени листьев были неподвижны. Изредка звеня, падала капля из урны в коридоре.

Так прошло, должно быть, около получаса, и могло быть два или половина третьего ночи. Я думал, что граф спит, когда раздался шепот:

— Доктор.

Я наклонился.

— Дайте руки, помогите мне.

Я взял больного за руки.

— Может быть, вам неудобно. Вы хотите переменить положение?

— Нет.

— Чувствуете ли боль где-нибудь?

— Нет.

Граф отвечал не сразу и шепотом. Я сидел, держа его за руки. Они показались мне немного холоднее, чем следовало. Тогда, пользуясь тем, что больной не спит, я приложил ухо к его груди. Шумы были слышны совершенно ясно, хотя я и не мог пользоваться стетоскопом. Удар был медленный, но лучшего наполнения. Улучшение, подумал я, но сам почему-то не верил своей мысли. В этот момент



граф сильно сжал мои руки, вздрогнул всем телом и в то же мгновение совершенно неожиданно погасла лампада. Стало темно.

Я постараюсь дать понятие о том, что затем последовало, хотя это и в высшей степени трудно, во-первых, вследствие сложности и необычайности происходившего, во-вторых, потому, что память в овладевшем мной состоянии не могла регистрировать явления с достаточной точностью.

## XX

Когда стало темно (это я помню ясно), первым моим ощущением была какая-то инстинктивная жуткость. Отчего она потухла? Все двери были заперты. Кругом комнаты были кусты и деревья, если бы был ветер, я бы его слышал. Вторая мысль: надо зажечь свет. Но этого сделать я не мог, пока больной крепко держал меня за руки.

— Граф, — мягко обратился я к нему, — пустите меня на минутку, я зажгу свет.

Ответа не было. Я собирался повторить просьбу, когда вдруг что-то упало возле меня. Я прислушался. Опять падение, на этот раз по ту сторону постели. Казалось, на мраморный пол падали капли и при каждом падении руки больного слегка вздрагивали. Сырости не было, я прекрасно знал это. Откуда же капли? Это не капли, их не могло быть, и чувство жуткости сразу возросло, когда я с полной ясностью осознал и почувствовал, что это нечто другое.

«Нет, так дальше не может продолжаться», — решил я, сознавая, что теряю спокойствие.

— Граф.

Голос мой прозвучал чуждо и глухо. Ответа не было: руки больного без нажатия, но твердо, неподвижно, как маска, держали меня и казались похолодевшими. Сквозь маленькие окошечки блеснула зарница, я увидел графа; лицо его показалось мне заострившимся. Он умирает, мелькнуло у меня, и в этот момент я впервые почувствовал лег-

кое головокружение. Преодолевая его, я наклонился к больному. Сердце билось очень замедленным и необычайно напряженным ударом. О, Боже мой, надо дать знать графине! Я вырву руки силой. С этой мыслью я сделал движение.

В полной тишине раздался тяжелый хриплый стон графа. Я со страхом опять приклонил ухо в его сердцу. Сердце билось, но только необычайным ударом. Оно билось совершенно так, как когда-то сердце Мары, так же нервно, с характерной прихотливостью, но только это было сердце умирающего, работавшее с такой степенью напряжения и столь поврежденное, что последнее сомнение в исходе этого напряжения у меня исчезло.

Он умирает... Я обещал графине... Я должен позвать ее.

С этой мыслью, поглотившей все остальное, я сделал усилие, чтобы высвободить руки.

Граф застонал так протяжно и ужасно, точно под орудием палача. Я замер от двойного ужаса: от мучительного сознания, точно я собственной рукой ударил этого несчастного умиравшего, а также потому, что не чувствовал больше своих рук.

Это повторение того, что уже было. Значит, я не могу дать знать графине. Что делать?

С этим отчаянным вопросом я замер, и опять в тишине что-то странно жутко капало возле меня. Тогда с ужасом я стал ощущать знакомую вибрацию в области солнечного сплетения, усиливающееся головокружение и новое еще чувство: мне чудилось, точно что-то перетекает через мои руки к больному, я чувствовал, что слабею, но сознание еще работало ясно, настолько ясно, что я сейчас же заметил, как от мраморной плиты подул холодком. Двери заперты всюду. «Галлюцинация?» — мелькнуло у меня. Нет, нет, холодное дуновение обдавало меня: то быстрое, точно чье-то ледяное дыхание, то медленное, точно тяга от дверей погребов...

Не знаю, что испытал бы я в обычных условиях, но тогда меня охватило чувство смятения и невыразимой тоски, вызванное моей полной беспомощностью. Седая голова графини и с мольбой устремленный на меня взгляд еще раз

мелькнули предо мной, и опять я сделал отчаянное усилие, чтобы освободить руки и, хотя не мог сделать ни одного движения, ответом еще раз был хриплый стон графа.

После этого я, совершенно разбитый, чувствуя прогрессирующую слабость, затих, и вдруг совершенно новое чувство благоговения к наставшей тишине, к незримому приближению смерти овладело мной. Капли не падали больше возле меня, но порой раздавался где-то в воздухе легкий треск и — не веря своим глазам, я увидел плывшие по комнате искры. Одни из них были светло-голубые, другие почти оранжевые. Встречаясь в воздухе, они соединялись и тогда раздавался легкий треск, причем умиравший каждый раз вздрагивал. Они плыли в воздухе тихим волнистым полетом по одному направлению, к изголовью умиравшего, к мраморной доске, и вскоре образовали возле мраморной доски светящийся, как Млечный путь, туман. В этот момент я уже больше ни о ком и ни о чем не думал. Без удивления, без страха, с чувством только глубокого благоговения пред раскрывавшейся великой тайной я смотрел на светящееся возле мраморной доски марево и, ясно видя золотые буквы, не знаю почему, слово за словом читал строку за строкой.

Ах, зачем так тяжел весь из мрамора гроб?..  
Умерла я под стоны метели,  
И все глуше звучал, нарастая, сугроб  
И тяжелые сосны скрипели.

За этими строками я видел еще две строфы, только они не были напечатаны, а написаны золотом от руки.

Но в могилу мою веют прежние сны..  
Я приду за тобой пред рассветом,  
Над постелью твоей бледный мрамор стены  
Озарю озаряющим светом!  
О, не верь мудрецам! им закрыты пути:  
Лишь безумцам сверкают туманы...

Я приду за тобой, чтобы вместе идти  
В ослепительно дальние страны!..

— Станка!.. — раздался тихий шепот умиравшего.

Тогда я поднял взор от нижнего края мраморной плиты и, скользнув по светящемуся мареву, встретился с ее взглядом. Глаза Мары смотрели на меня.

Я не видел одежды ее, только на высоте груди блестело что-то золотое. Лицо, чистое, как у мраморной статуи, освещалось сиянием окружавшего марева, и только глаза, казалось, имели собственный свет.

«Умирающие никогда не ошибаются», — скользнуло у меня в памяти и, как бы в ответ на мою мысль, она слегка кивнула мне головой и глазами, и уста призрака озарились такой тихой и счастливой улыбкой, какой я никогда не видел у Мары.

— Станка!.. — еще слабее прошептал умиравший. Тогда она протянула к его изголовью руки... Не знаю, слышал ли я или только угадал на ее устах эти слова:

— Я пришла за тобой...

В то же мгновение я почувствовал, что слабее. Руки умиравшего сжали мои. Мне казалось, точно я отдаю ему что-то, точно помогаю в его усилиях. Он опирается на меня, чтобы совершить трудный переход, именуемый смертью, мелькнуло у меня, и я стиснул зубы, испытывая невыносимое напряжение всех сил и стараясь не препятствовать ему. Потом я почувствовал вдруг острый толчок, точно что-то между нами оборвалось, в комнате раздался сильный треск.

Кажется, я тогда потерял сознание, потому что в следующее мгновение, удержанное памятью, у меня было страшное сердцебиение, я открывал двери на веранду, сам не зная, что делаю. В дверях я столкнулся с Каганским. Он отшатнулся, увидев мое искаженное лицо.

— К больному!.. — задыхаясь, крикнул я.

На дворе, где было уже почти светло, первое, что бросилось мне в глаза, была Федора с дохлой гуской в руках, остановившаяся у веранды. Кажется, она собиралась начать обычную жалобу, потому что я отчаянно замахал на нее ру-

ками.

Тогда, догадываясь о происшедшем, она спросила равнодушно:

— Помер?

Я не отвечал, хватаясь руками за бешено колотившееся сердце.

Вслед за тем на веранду вышел Каганский.

— Что?.. — спросил я с ужасом.

— Скончался, — отвечал старик.

Словно не ожидая этого известия, сердце мое забилося еще сильней. Задыхаясь, я говорил:

— Федора покажет... Идите садом... в моей комнате лавровишневые... побольше... Не говорите женщинам... пока я не оправлюсь, чтобы помочь.

Рассказывать, что было дальше, излишне. Истерический плач молодой вдовы заключал в себе еще ту силу, которая служит основой все забывающей молодости; гораздо ужаснее было горе матери.

Графиня не произнесла ни одного слова, не уронила ни единой слезы. Согнувшись в кресле возле гроба, она, казалось, с каждой минутой опускалась все ниже, как бы вращая в ту могилу, куда через два дня должны были опустить ее сына.

Мраморная плита оказалась расколотой во всех местах и по всем направлениям на мелкие, как зерна, куски. Должно быть, она уже рассыпалась теперь, но тогда еще каким-то чудом держалась...

Когда через некоторое время я, усталый и глубоко потрясенный всем пережитым, проезжал мимо старой башни по пути к местечку М., был чудный весенний день. Ворон недвижно сидел на своем посту, черные с синим отливом крылья, как полированные, сверкали на солнце. Со странным, быть может, несколько суеверным чувством смотрел я на загадочную птицу, когда вдруг порыв ветра сорвал последний убор отцветавших возле башни садов и осыпал меня и коляску дождем лепестков... «Счастливы ли они, Эрик и Мара?» — с детским простодушием подумал я, и в памяти у меня сейчас же прозвучало:

Им страшные слезы незримы,  
Что жгут на могилах венки.  
Им песни поют серафимы.  
Им счастье несут лепестки...

## ОБ АВТОРЕ

Павел Дмитриевич Пихно, выступавший в печати под псевдонимом Paul Viola (Поль Виола), родился в 1880 г. в семье юриста, экономиста и политического деятеля черносотенного толка Д. И. Пихно (1853-1913), в 1878-1913 гг. редактора газеты «Киевлянин». Единоутробным братом П. Д. Пихно был журналист и политический деятель В. В. Шульгин (1878-1976).

После окончания 2-й киевской гимназии учился на филологическом факультете Киевского университета, затем управлял собственным и отцовским имениями на Волыни, публиковал стихи в периодике. Переводил французских символистов. В 1907 г. выпустил в Киеве стихотворный сборник «Прелюдии творчества», куда вошли и авторские стихотворения, и переводы с немецкого и французского. Увлекался философией и музыкой, по воспоминаниям Шульгина «недурно играл на рояле» и обучался скрипичной игре в Швейцарии.

После самоубийства своей любовницы-кузины, как свидетельствует Шульгин, начал заниматься спиритизмом; получив на сеансе послание от умершей, устроил для нее в своем имении особый склеп. Позднее женился на дочери крупного киевского торговца оптикой, имел двух сыновей, умерших в 1920-х гг.

Согласно Шульгину, умер от тифа во время Гражданской войны, в 1919 г., на одной из станций по пути из Киева в Одессу.

Рассказ «Волчица» был впервые напечатан в журнале «Ребус» в январе-феврале 1909 г. (№№ 1, 4-5, 8). Повесть «Мраморное поместье» была впервые опубликована в том же журнале в мае-декабре 1913 г. (№№ 15-16, 18, 20-26, 28-31, 35-40).

Тексты печатаются в новой орфографии, с исправлением очевидных опечаток. Пунктуация приближена к современным нормам.

В оформлении обложки использована работа В. Борисова-Мусатова.

## POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.